АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

КРЕЩЕНЫЙ КИТАЕЦ

1927

„НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ“

84
Б 43

Б $\frac{4702010201\text{-}608}{088(02)\text{-}92}$ КБ-51-3-90

ISBN 5-85220-064-6

© Издательство «Панорама», 1992 г.

КАБИНЕТИК

У окон:—

—протертый, профессорский стол с очень выцветшим серозеленым сукном, проседающий кучками книг; здесь пузато уселась большая чернильница; падали: карандаши, карандашики, циркули, транспортиры, резиночки; лампа: зеленый металл прочернился, а абажур—лепестился; валялись листочки и письма с французскими, русскими, шведскими, американскими марками, пачки повесток, разорванных бандеролей, нераспечатанных и неразрезанных книжечек, книжек и книжищ от Ланга, Готье и других; составлялись огромные груды, грозящие частым обвалом, переносимые на пол, под стол и на окна, откуда они поднимались все выше, туша дневной свет и бросая угрюмые сумерки на пол, чтобы отдаться на полки и полочки, или подпрыгнуть на шкаф, очень туго набитый коричневыми переплетами и посыпать густо сеемой пылью обои потертого шоколадного цвета, и—серого папочку; в серой своей разлетайке посиживал он, скрипя стулом

и уронивши в сукно вычисляющий нос,—где с надсадой вышептывал он: —

—„Эн, эм, эс!“—

—принимаясь чинить карандашик; отсюда в пыли, в паутине и в листиках рассылал шепоточки и письма свои Миттах-Лефлеру, Пуанкаре или Клейну [1]) и прочим,—

—ожесточаяся и умоляя Дуняшу и маму оставить в покое бумаги:

— „Не путайте, знаете, мне“...

— „Да ведь пыль, барин,—видите“...

— „Нет уж, оставьте: бумажечка каждая, знаете ли,—документ: переложите,—ничего не найдешь“...

Он отсюда вставал; и рассеянно шел коридором, столовой; и попадал он в гостиную; остановившись пред зеркалом, точно не видя себя, он стоял и вычерчивал пальцем по воздуху знаки; случайно увидев себя пред собой, он впивался в себя самого очень зверски, поставив два пальца себе под очки; и не мог оторваться, не мог оторваться от пренелепо построенной головы, полновесной, давящей и плющащей папу (казался квадратным, он) и созерцающей из-под стекол очков глубоко присевшими, малыми, очень раскосыми глазками, тупо расставленным носом; он гладил тогда полнощекое

---

[1]) Математики.

это лицо полнотелой рукой; повернувшись, старался увидеть свой собственный профиль (а профиль был скифский), крутой, кудробрадый, казавшийся зверским; смешной он такой:—

—да—

—домашний пиджак укорочен; кончается выше жилета; пиджак широчайше надут; панталоны оттянуты; водит плечами, переправляя подтяжки; подтянет,—опустятся; в этом своем пиджаке, как в мешке, может смело вращаться—направо, налево; и кажется косо надетым пиджак; и от этого—что-то раскосое в папочке; он закосил пиджаком; очень часто он скашивал руки; и ногу он ставил на пол тяжелее, чем следует.

Помню, бывало,—

—стоит он таким голованом, засунувши руку в жесткую бороду—пальцами, и приподнявши на лоб жестяные очки, наклонив на-бок лоб со свирепою, лоб перерезавшей складкою, точно решаясь на страшное дело; рукой барабанит по двери;

и—

—туловище перевернулося животом как-то наискось от плечей; ноги тоже поставлены косо; такой он тяжелый и грузный от этого перемещенья осей;—

— он стоит:—

—тарарахая пальцами в дверь, свирепеет; и—шепчется, шепчется,

шепчется; страшно мне, страшно: какое-то есть тут „свое".

— „Ах, да что вы такое"—окликнет его проходящая мама с ключами; идет она в шкаф—за корсажем, малиновым, плюшевым; и—за такою же юбкою.

Папочка тут переменится; высунет голову и поморгает на мамочку робкими глазками, будто накрыли его:

— „Ах, да я-с?"

— „Ничего себе"...

— „Так-с!"

Барабанит ногами себе в кабинетик, какой-то косой:

— „Да, идите себе!"

— „Вычисляйте!"

Споткнется словами, рассеянно повернув и благодушно-рассеянный, песий какой-то свой лик, и посмотрит надглазьем приподнятых стекол (очковых).

— „Да я уж и так, мой Лизок... вычисляю"...

А мама улыбкой укажет:

— „Чудак".

И позванивая хлопотливо ключами, идет за малиновым, плюшевым, бальным корсажем, за плюшевой юбкою; кружево—черное; нет рукавов; на груди — большой вырез; она голорукая и гологрудая, густо напудрив головку и в волосы вставив эгретку,—седая какая-то—едет плясать и кружиться в огромном гран-роне.

А папа опять припадет вычислять над давно выцветающим серозеленым сукном, выпивая чернила чернильницы—в листиках, карандашах, карандашиках, транспортирах и книжищах: развычисляется, размахается, вскочит, забегает в паутинниках, все сотрясая; подпрыгнет он с вышептом—

— „Эн, эм, эс: ах!" —

— натолкнувшись на книжную груду:

— „Сломал: фу ты, дьявольщина!"

Сосредоточенно принимается вдруг очинять карандашик, стараясь его острие превратить просто в точку: тогда наступает молчание; после опять поднимаются охи да вздохи о свойствах какого-то мира, иного, не нашего; я наблюдал, как он гулко расхаживал взад и вперед, повисая косматой своей головой как-то горько и терпко, свисая направо, и глядя на ровные полки коричневых корешков исподлобья, как будто он делал им смотр; с карандашиком правую руку всегда прижимал он к груди, бросив в воздух махавшую левую руку и два оттопыривал пальца на фоне обой шоколадного цвета; и вдруг начинал он так мягко сиять добротой, когда контуры нового исчисления „эф, икс" перед ним восставали; о нем сообщали в Сорбонне; о нем математик французский Дарбу обменялся уже впечатлением с папочкой, а Чебышев [1]) — содрогался.

[1]) Пафнутий Львович Чебышев, русский математик.

Я знаю, что тут развелись скорпионы—не злые, а книжные; папа мне раз показал скорпиона, перехвативши меня, проходившего мимо; прижал меня к шкафу; и открывая огромный и пахнущий фолиант: том Лагранжа, подставил его мне под нос; показал скорпионика, очень довольный событием этим.

— „Ти-ти... Ти-ти-ти!..“ приговаривал он, догоняя его на странице Лагранжа большим указательным пальцем.

— „Ти-ти“—и лицо засморчи́лось морщинками—юмористически, чуть саркастически, но добродушно и радостно:

— „Ах ты, смотри-ка: ведь ползает, ползает шельма!“

И мне подморгнувши татарскими глазками, он произнес с уважительным шопотом.

— „Знаешь ли, Котенька, он поедает микробов: полезная бестия“.

— „Да!“

Скорпиончика я рассмотрел на странице Лагранжа; он—маленький, ползает, уничтожает микробов; полезная шельма! А папа, захлопнув полезную шельму, убрал ее в шкаф; и—запахло антоновкой (эти антоновки он покупал, одаряя антоновкой нас за обедом).

Раз в год, облекаясь в халат, подымал столбы пыли он грязною тряпкой, чихая и кашляя; тут он сносил, что не нужно, в кофейного цвета шкафы, наполнявшие и расширение коридора (меж

детской), пытаясь шкафами ввалиться к нам в детскую и запрудить вовсе выход: закупорить книгами нас; и порой отправлялся с Дуняшей и дворником он в кладовую, снося весь излишек скопившихся масс; но Антон, дворник наш, подобравши ключи к кладовой и вступив в соглашение с жуликом, книги вытаскивал; книгами папы еще после смерти его торговали в Москве букинисты.

Да, да.—

— На шкафах поднялись многогорбые, книжные груды, завешанные зеленой материей,— пыльной, как все; среди них помещалась кроватка, скрипучая, с жестким матрациком и с одеяльцем такого ж, как все, шоколадного цвета; торчали две туфли и множество серых от пыли сапог, поражая меня рыжевато-нечищенным видом своих голенищ—среди гирь,—

—поднимаемых папой с натугою:

— „Раз!"

— „Два!.."

. . . . . .

— „Шестнадцать!"—

—(страдал он запором)—

—шкафы умножались; а—новые ставились, в грустных годах обрастая кровать (в головах, и в боках, и в ногах!), образуя средь комнаты комнату с узким проходом, куда удалялся наш папа: полеживать с книгой:—

—бывало: —

—пойдешь,—и увидишь: в градации мягких тонов шоколадного, серо-кофейного, серого, серо-зеленого цвета лежит на постели с очками на лбу, закрывая глаза, уронивши на грудь утомленную руку (с развернутым томиком); как-то бессильно другая рука повисает с постели; лежит посеревший и бледный, в морщинках; и кажется тут он старее, чем следует (в общем моложе, чем следует, выглядит он: пятьдесят ему минет!).

И думаешь:

— „Папочка...“ —

—Или:—

—увидишь: раздетый лежит на боку, подоткнувшись, поджавши колени и вырисовываясь изогнутым телом; под одеяло ушла голова; только выставлен нос да кусок бороды (это он отдыхал, пообедав); и—скажешь:

— „Чай подали, папа!“—

—Привскочит: сидит на постели, глаза кулаками усиленно трет, суетится, дрожа над очками:

— „Ах, ах-с!“

. . . . . .

Да, настырная книга грозила гостиной; как будто совсем невзначай, угнетенный обвалами книг, папа выдумал выставить книжную полочку: прямо в гостиную. Ай, что тут было!

Увидевши полочку, мама всплеснула руками; и личико все прохудело от скуки; и—кинулось прямо

в глаза; и лицо ее встало одним сплошным взглядом, придирчивым:

— „Вон!“

— „Эту гадость?“

— „Сюда?“

— „Вон-вон-вон!“

Папа нашептывал что-то такое „свое“ относительно полочки, методически разрезая по воздуху фразы свои разрезалкой, которую всюду носил он с собой, точно книгу, чтоб мненье его относительно полочки явно легло перед нами раскрытою книгой:

— „Ну вот-с...“

Но на это как мама затопает:

— „Вон!“

— „Беспорядок!“

— „Разводите пыль. Коль хотите вы пыль разводить, то держите ее у себя!“—

—Да я знал, что „ну вот-с“, как и все откровения папочки, быстро отправятся мамою: в кладовую—пылиться, откуда уйдут... к... букинисту!—

—Несчастная книжная полка влетела стремительно в кабинетик обратно: боялись движения томиков с северо-западного угла, где хладел кабинетик,—на юго-восток, где пышнели парадные комнаты в чванном бесснижии; книжный, протянутый ряд, многотомный, коленчатый, длинный, как щупальце, пробовал, дверь отворивши, пролиться томами повсюду, завиться вокруг всего прочего; часто казалось, что

папа, как спрут, от себя разбросал многоноги из книжных рядов и нас ловит, цепляясь за руку, за ногу об'емистым томиком, силяся все сделать книжным:—

—все ходит, бывало, за мамой и все собирается дать рациональный совет, убедить ее в способах, истекающих из точки зрения папы; но рациональный совет его кажется мамочке, бабушке, Доте, Дуняше и мне только змеем словесным, пускаемым в небо страницею томика:—

—видел, как дергались в небе бумажные змеи хвостом из мочала:—

—Мы головы все задерем: ничего не поймем; где все это живет и летает у папы—на небе? Но называется все это: дать рациональный совет.—

—Или способы: способы предлагались всегда им на все; и казалося мамочке, бабушке, Доте, Дуняше и мне: если б мы принялись прилагать эти „способы" к жизни, открылось бы тотчас же „Общество распространения технических знаний" у нас, основателем общества сделали б папочку; и секретарь заседал бы в столовой и писал протоколы, от скуки бы умерли мы.—

—Точки зрения: как разовьет точки зрения он, так становятся глазки его неприметными точками зрения; что же получится? Заговорит за столом о своих точках

зрения; заговорит и не кушает: мыслями он разрезает котлеты, словами жует; так второй он разводит обед за обедом; и называется все это: „умственность"; и возвышается „умственность" эта, как лоб (лоб огромный: лобаном его называла скучающе мамочка); это—абстрактное мнение, нет,—не выносит она: „Михаил Васильич, вы шли бы к себе: отправлялись бы в клуб". И абстрактное мнение, встав от стола, тарарахнувши стулом, стараясь быть тихим, выходит и просит Дуняшу почистить ему сюртучок (половицы уже раскричались жестокими скрипами: папа, стараясь быть тихим, себе собирается в клуб).—

— Надевает сюртук не сюртук—лапсердак (одевается он не как надо, а собственным способом); „лапсердак" волочится почти что до полу, не сходится он на груди; застегнул—„тарарах", оборвался: болтаются нитки, платок носовой вывисает, как хвостик из фалды, а ворот завернут и вывернут в нетерпеливости быстрого надеванья на плечи; наоборот: пиджачок укорочен, кончаясь выше жилета и надуваясь до ужаса.—

—И тем не менее папочка ходит за мамочкой с томиком; и—проповедует способы, им измышленные,—там, в кабинетике снова и снова выходит оттуда—давать нам советы, как жить и что делать: ударит, как берковцем, словом; у мамы расширятся ужасом скуки глаза, и она ручкой ухватится за гуттаперчевый

шарик; и „псс"—хочет прыснуть сосновой струей пульверизатора; но—пульверизатор не действует; в воздухе густо висит математика;—

— папа наш — скиф; он не любит духов, говоря о духах: „Мне не нужны они: я ничем не воняю", но он все же пахнет: антоновкой, полупритушенной стеариновой свечкой и пылью; порою всем вместе за раз; и не слышит он музыки; музыкой мамочка борется с папочкой;—

— все-то пытается выгранить способы жизни; и ограничить нас гранями, но не такими, как ясные грани на маминых светлых сережках: абстрактными гранями (не понимаем мы их: мама, бабушка, Дотя, Дуняша и я); мама тотчас садится играть на пьянино; и папа, нам вынесший томик французских мыслителей, тотчас уносит об'емистый томик, в котором изложена нам рациональная ясность, которую он попытался однажды просунуть в гостиную: полочки нет; и — не будет!

. . . . . .

Боролись с коленчатым рядом томов, разводимых огромными быстро рыжевшими массами. Нечего делать; напялив халат, расчихавшись, раскашлявшись, папа кряхтя и вздыхая вставал на скрипевший, давно раскачавшийся стул: произвести сортировку томов, долженствующих поступить в кладовую; казалось: давление томиков разорвет кабинет; папа в белой сорочке, со свечкой в руке

и с развернутым томиком Софуса Ли[1]) упадет из пробитой стены на постель к... Генриэтте Мартыновне, чтоб продолжать свое чтение.

Но кабинет все держался; и—странно сказать: умывальник поставила мама туда: выходила плескаться и брызгать на книги водою и мылом; но папе ничто не мешало вышептывать и к с ы и и г р е к и, грохотом проходя мимо детской с зажженною свечкой и с томиком Софуса Ли по коридору—в ту темную комнатку, где очень часто взрывалися звуки спускаемой бурно воды, где я не был, откуда ко мне приносили... посудинку, где очень часто просиживал папа с зажженною свечкой и с томиком Софуса Ли; очень часто там портились трубы; и папа ходил проливать темно-красную жидкость и прекращать недостойные запахи:—

—с п о с о б такой удавался; и черные палочки, кажется, марганцевого кислого кали стояли на полочке среди томов математики:—

—да, разводил он слова, точно черные палочки марганцевого кислого кали, уничтожая мгновенно дурной запах слов б л а г о р о д н о й тенденцией—

—Папа наш был альтруист в высшем смысле:—

—порой: в темной комнатке было так много эгоистических запахов,

---

[1]) Шведский математик.

что перемазанный водопроводчик, гремя сапогами, туда проходил; и вытаскивал странные части: и трубы, и тазики; папа со свечкой справлялся тогда у него, в чем же, собственно говоря, заключается порча; казалось тогда: папа близится к цели; и „Общество распространения технических знаний" возникнет вот-вот перед темною комнатой; водопроводчик окажется председателем общества: папа же будет вести протоколы свои:—

—не позволено папе вести протоколы в гостиной!

. . . . . .

Мне дорог был он и тогда, когда делался очень похожим на голованного гнома: своей головою, ушедшей в покатые плечи бывало на нас повернется; и—поглядит очень пристально, чуть засосавши губу, испуская особенный звук через губы цедимого воздуха „вввссс", будто хочет он что-то такое сказать; вместо этого он поморгает и, повернув свою голову, задуботолит к себе в кабинет, как в глухую пещеру.

. . . . .

Порой я вперяюся в папино, очень большое, румяное, несколько полное и обрамленное небольшою, курчавой, каштановою бородою лицо; промышляют лета на нем явственной проседью; кажется это лицо мне особенно милым (как часто боюсь я его), полновесным, давящим и плющащим папу; оно пренелепо построено; да, прене-

лепо построена вся голова с очень-очень большим, вылезающим лбом и с глубоко присевшими, малыми, очень раскосыми, будто татарскими глазками; глазки, как стрелки: пошлются они в собеседника, ткнутся булавками: кажутся карими; или—забегают, вертятся, точно колесики: кажутся серыми; но, запыхавшись, споткнутся о новую мысль, улыбнутся, синея и обливая таким превосходным добром, как просветное небо за тучами.

Гром—в бороде, под усами, во рту: борода и усы:—

—обстрижется, вернется с совсем небольшой бородой, ставшей вдвое колючее, с шеею, ставшей полнее, с лицом уменьшившимся,—кажется зверским таким, изуверским таким...—

—рот:—

—широкий, просунутый верхней губою, с'едающей нижнюю, спрятан щетиной сурово нависших усов, очень жестких и колющих поцелуем меня; так и кажется, рот разорвется в простецком, естественном лае: „Все это, мой Котенька,—да-да-да-да: болтовня, болтовня—болтовня либералов" (он—скиф, а не западник: рот); и пойдет, засучив кулаки, этот рот, прижимать болтуна; папа грудью провалится, шеей уйдет в набежавший на голову смятый свой ворот, опустится всей головой ниже плеч, точно бык (нос висит на ключице; очки отседают; и надо лбом—клок волос; неприятно

забегали кровью налитые глазки, на шее прочерчена красная жила, и—как она бьется:—

— „Помилуйте, батенька: порете чушь! Почитали бы Канта, Спинозу и Лейбница!“ и либеральный болтун отпускает крылатое слово: „Ужаснейший спорщик!“—

—Спросили однажды студенты меня на докладе:

—„Кто этот свирепый чудак?“

—Я ответил:

— „Профессор Летаев“.

– „Ужаснейший спорщик!!“—

—рот—спорщик!

Но рот рассмеется: и—кроется милое это лицо очень явственной крупной морщиной, расставленной справа и слева от носу и надувающей щеки буграми; покажутся белые, крепкие зубы, которыми папа гордится; большой, непрямой, а широкий, гусиный раз'едется нос, точно старый насмешник, поставивший руки в широкие боки—ноздрями; и—вот-вот-вот он повыпрыгнет, точно живая лягушка:—

—И станет румяным проказником папа, как сатир; ему бы на голову плющ (может быть, он с копытцами); сзади платок вывисает: совсем сатирический хвостик! Он голову выгнул и смотрит на мушку, слетевшую вниз с потолка: „Мушка, знаете,—вовсе, как птичка: великолепнейшая машинка; такую машинку не сложит профессор Жуковский“. И—с „т и-т и-т и-т и“—

подбирается полной ладонью, изогнутой, к чистящей лапки „машинке". И—„цап-царап": мушка сидит—в кулаке...—

—Нос—забавник:—

—очки:—

—очень строго сверкают они; говорит, на слова поднимает очки он, отчетливо подпирая их снизу дрожащими пальцами; руки дрожат у него от волненья; свирепые, четкие складки разрежут весь лоб, собираясь пучечком над носом.

Разгладится после, откинется: весь подобрев, просияет; и тихо сидит, в большой нежности—так: ни с того ни с сего: большелобый, очкастый, с упавшею прядью на лоб, припадая на правый на бок как-то косо опущенным плечиком; и—подтянувши другое плечо прямо к уху, засунувши кисти совсем успокоенных рук под манжеты к себе; накричался; и—тихо сидит, в большой нежности,—так, ни с того ни с сего; улыбается ясно, тишайше себе и всему, что ни есть, напоминая китайского мудреца, одолевшего мудрость И-Кинга, распространяя тончайшие запахи чая и спелых антоновок:—

—странно: ведь вот в кабинете же пахнет скорей старой книгой, бумагами, пылью, порой сургучом; а откуда же запах антоновок?—

—после скандалов и ссор пропадал этот запах; и пахло естественно: пылью.

. . . . .

Закат!

Застолбели вдали горизонты крепчающим дымом; везде неподвижно висят столбняки; еле свешиваясь, передвигаясь чуть-чуть, не спадая ни капли; и небо не небо уже; что желтей? Канареечник просто какой-то!—

— и папочка — небом освеченный, духом просвеченный!—

—В небе совсем бирюзовом преясно живеют от облака певчие светочи—зовом: в вишневом; погасли: и стало сурово, и стало лилово: совсем как симфония, где окрылившийся юмор, сливаясь слезами в хрустальное озерце, приподымает звончайшие песни сквозных ледников и кристаллов; не знаешь, что это: кристаллография, музыка?

ПАПОЧКА

Знаешь: с в я т е й ш е е!

В папе живет оно; и человеку душевному кажется каменным, иль—отвлеченным от жизни, которая только „р а с с т р о й с т в о ч у в с т в и т е л ь н ы х н е р в о в“; и папа шагает по дням юмористиком, предпочитающим листики лекций всей мистике: но обожающим... почки и листики майского тополя; конфуцианская мудрость его наполняла; любимые фразы его:

— „Все есть—мера гармонии!“

— „Есть же гармония, знаете, мера же—есть!"

— „В середине и, да, в постоянстве—действительный человек проявляется"...

— „К миру идем, чтоб, став миром, над миром стать,—в мире, по отношенью к которому мир—только атом, переходя по мирам; мир миров это—мы; корень нас есть число, а число есть гармония меры".

— „Так все есть гармония меры".

Я знаю, что папа живет консерватором мер и весов; открывает он звуки гармоний при помощи чисел; невнятное, неисчислимое он от себя оттолкнет, восхищаясь и малою мушкой, и тем, что картину Рицциони возможно разглядывать в лупу; часами умел углубляться он в мелочь, разглядывать мелочь; и строить из мелочи вовсе не мелочь.

Запомнилось:

— „Да, вот, вода!"

— „Аш два о: красота!"

— „Простота!"

Он доказывал всем, что шампанское—дрянь: неизящны структурные формулы сложных составов:

— „Вода есть великий, нам данный, напиток"—и в маленьких глазках—светелица; светочом мысли отплющит по скатерти пальцем—пройдется по комнате, перехвативши графинчик с водой, отчего на стенах засветлит беготней излучаемых заек; очки подтолкнувши на лоб и прищурив раскосые глазки, любуется; и освещает обряд водопития

бегами мудрого слова (так: у меня уваженье к воде); утончение чувств—не изящество; нагроможденье числителя и знаменателя отношения меж раздражением внешних предметов и да, ощущением их:

— „Сложность, путанность мысли и чувств"—полагает устами он мнение нам на ковровую скатерть таинственно—„не глубина"; эти мысли не мысли: процесс вычисления—не результат; хороши—результаты".

— „Да, да"—суетится устами усатыми он и кидается взорами—

—„да-с, в результате обычно"—его разрезалка взлетает—„числитель и, да-с, знаменатель искомого отношения, да-с, сокращаются—да-с" (разрезалка по воздуху делает быстрый зигзаг, сокращая туманную мысль—в результат простой мысли) „и мы переходим: к простым отношениям!!"—

—тут озирает противника (маму) победно (но хмурится мамочка).

— „Это какая-нибудь—да-да-да!—только треть, иль только вторая, а вовсе не пятая, не двадцать пятая"—очень лукаво хихикает

он, указательным пальцем

ударив в стакан—

—„дзан!"—

—„Опять?"

—„Не звоните в стакан!"—вырывается возгласом мамочка...

— „Мир—отношенье простое и краткое; он—результат многосложных процессов, но он не процесс: результат!“—

—Тáт-тарáт!—

—Он подщелкнет: в клеенчатый круг; и—подбросит: тот круг; и—поймавши, подложит под круг этот круг (он играет кругами).

— „Пошла ерунда!“

— „До чего это скучно: опять вы устроили складки на скатерти!“

— „Да-с“—откликается, очень довольный созданием мира и выражает довольство свое в неожиданной шалости: выскочив, перебегает он грохотно небольшое пространство передней— до кухни

Стремительно выкрикнет, дверь распахнув, свой экспромт—Афросинье:

Прошу Афросинью
Нам сделать ботвинью
Без масла и мяса
Из лука и кваса;
Поевши гороху,
Пеките пепеху
Из кислого теста,
О, вы,– Клитемнестра!

. . . . . .

Да, он выдвигал своим правилом: очень размеренный, все бы сказали: мещанский Китай, из обычаев света, законов и правил, наполнивши правила вовсе иным содержанием, взятым—

— у Лейбница,—

— у Пифагора,—
— у Лаодцы,—
—упорно старался во всем проводить это все, притесняя советами нас и врываясь глухим носорогом в неграннную музыку:—
— выгранить, выгранить,
результировать, взвесить
и взлюбить!—
— На это ответствует мамочка:
— „Вы,—голован!“
И выходят одни только казусы: только смешные последствия громких теорий; сам папа зажил, как святой, им самим ограниченной жизнью; казался другим ограниченным он; появляясь средь нас простецом, он бывал очень часто в смешном положении;—
— встретясь на улице с ним, не
сказали б:
— „Профессор!“
Сказали бы:
— „Жулик!“—
— менял котелочки и зонтики он
в преогромном количестве, все
оставляя свое и утаскивая
чужое добро: очень ветхое,
впрочем.
Иные ловили унизить его: попадался
он тотчас же:

— „Видите?“

Раз было сказано:

— „Знаете, верно профессор Летаев страдает уже размягчением мозга?“

Да, да: рациональные способы жить не всегда удавались; и ясность французских мыслителей верно таила туманы; я долго глядел на него; и загадочней мне становилися силы, слагавшие мир его; сам он себе изменял;—преступал всюду меру: безмерно выдумывал меры и способы; и забывал их; как способ заварки кислот (марганцевой и борной).

— „Ах, Лизанька“—раз он сказал—„есть прекрасные способы предохранить наши зубы от порчи заваркой кислот!“

— „Ах вы: способы, способы!“

— „Нет, знаешь ли...“

И решенье свое затаил он до времени; раз он ворвался с огромной воронкой из жести, с зеленой бутылкой, с мешком кристаллической кислоты (он пустую бутылку зачем-то купил).

— „Что вы это?“

— „А это, Лизочек... вот видишь ли, я... чтоб заваривать... борную... да, кислоту...“

— „А?.. Да кто вам позволит?“

— „Я, Лизочка, быстро себе заварю...“

— „Не пущу: безобразие, срам!“

Но воистину, с бычьим упорством, отставив поднос, он поставил бутылку; возясь над воронкой.

Тут мама, не выдержав, лопнула хохотом; и тетя Дотя за нею—горошиком; тыкаясь носом в пустую

бутылку и обжигая дрожащие пальцы струей кипятка, бормотал он:

— „Раствор концентрирован".

И „ти-ти-ти"—отправлялся, забулькав, в воронку раствор кислоты; раза два заварил таким образом он, позабывши о способе; способ (воронка) отправлен был тут же: в помойку; так способы жить разрушалися: способ за способом; он не препятствовал; да, он любил: результаты, итоги, способности, ставшие способом; сам же терял эти способы; жил он способностью: выдумать способы!

Помню!

Раз появился в столовой седой овцебык; такой выспрянный, важный—профессор из Киева; папочка, выскочив и потирая приветственно руки, отгрохотал в кабинет, оставляя почтенного гостя в немом изумлении.

— „Повремените: минуточку!"

Знаю: всегда так; придут—а он скроется: производить в кабинете какое-то дело (какое не скажет); какое—я знаю: —

— два дела свершаются тут очень часто одно за другим; дело первое: выбег по коридорику в темную комнатку с перегоревшею свечкой; и — с томиком; там постояв, выбегает обратно; и на ходу он застегивает... не выходит: стоит перед дверью в гостиной; уже говорит из-за двери он с гостем; и—продолжает... застегивать, выставив нос из-за двери, то самое, что не застегнуто; знали мы это; и очень боялись, что

выйдет он прежде еще, чем успеет окончить все это; но он выходил, застегнувшись; и тотчас же— с головой в разговор;—

— а второе, таимое дело— оно заключалося в том, что:

— „Сейчас... Повремените минуточку!"—

— Скроется: выскочив, радостно грохнет:

— „Василий Иваныч, я рад... Вы, Василий Иваныч, надолго из Киева?.. Вы бы, Василий Иваныч... Я вам бы, Василий Иваныч..."—„Василий Иваныч", „Василий Иваныч": Василий Иваныч, наверное, может подумать, что тут издевательство есть над „Васильем Иванычем"; вдруг превратится „Василий Иваныч" в „Василий Ильич"; произносится это „Василий Иваныч" так радостно, точно в самом сочетании звуков „Василий Иваныч" есть тайна, которую знает лишь папа один, а „Василий Иваныч" не знает; и светлые зайки бегут: вот-вот-вот:—

— пробежало по скатерти, порхнуло под потолок, забыстрело зигзагом на белых обоях, по лицам; потерялося в окнах; Москва прояснела: то—солнышко (вот так „Василий Иваныч", могу сказать!)—

— розовым крепким румянцем горят наши лица! —

— Василий

Иваныч Быкаенко тронут любезностью, радостью папы:—

— о чем эта радость?—

— Я—знаю:—

— „Повремените минуточку: я, вот, сейчас"—убежит в кабинетик, напуганный,—прямо к столу; и хватается там, над столом, за карманы; за стенкой я слышу:

— „О господи! Чорт возьми! Ах!"

— „Потерял..."

— „Где же ключик?"

— „?"

— „Здесь нет".

„Шу-шу"—шептушúрит бумага, взвивается листик, и грохает что-то...

— „Пропал!"

Наступает молчание, полное ужаса; если ключа не найдет, то не выйдет, завозится; гость—ожидает.

— „Нашел-с!"

Грохотание ящика: знаю, оттуда хватается толстая, переплетенная книга; на лоб отметнувши очки, припирается носом к страницам, исписанным скачущим подчерком; пальцами бегает, очень довольный собою и „способом":

— „Ну-ка, посмотрим?"

И шевалдúт шептуном:

— „Так-так-так: это—„а"; это „б": Берендеев, Бернеев, Берсеев, Бернеев... Нет—дальше: ах—нет: фу ты, чорт: Вадабаев, Вадеев: да раньше же,

батюшка мой; вот: Бугаев, Будаев... Быкаенко!! Вот-с".

— „Ти-ти-ти!"

— „Вот-с!"

— „Нашел-с!"

— „Вот"—доносится удивленный и радостный шопот—„Василий Иваныч Быкаенко..."

— „Деятель..."

Шопот становится громче:

— „Профессор!"

И шопот становится возгласом:

— „Э... ге-ге-ге: ти́-ти́: ти-ти... Болтун!"

— „А?"

— „Скажите пожалуйста, батюшка мой!"

— „Вот ведь штука!"

— „Болтун!"

— „Либерал, австрофил!"

— „Ти-ти-ти..."

И вскочив, от волненья пробегом пройдется за стенкою, свечку зажжет, и бежит мимо детской скорее он в темную комнатку: там обсуждать непосредственно узнанное; там—он запрется:—

—я знаю: уже:—

—на подкидистом подчерке, в книгу стремясь, забегают знакомые наши—все, все (Берендеевы, Беренёвы, Бурнёвы, Бернилины, Бе́рничи, Бе́рповы, Бе́рши, Берсеевы—многие сотни их!), располагаясь фамилиями в алфавитном

порядке; даются кратчайшие характеристики, имена, отчества, роды занятий и склонностей;—

— здесь почерпнувши сырой материал для беседы, мой папа, вернувшись со свечкой обратно, бежит перегромом в гостиную, к гостю; еще не вбежавши, еще спотыкнувшись за дверью, там странно застряв, он кидается взапуски словом, которое только что было подчеркнуто:

— „Да: очень рад видеть вас"—раздается за дверью.

— „Вы, верно, Василий Иванович"—скрипнула дверь, и оттуда просунулся нос вместе с очень лукавым, совсем добродушным моржачьим каким-то лицом.

— „Вы, Василий Иванович"—папа за дверью старается справиться с неподатливой туалетною частью:

— „Вы, верно, недавно сюда?"

— „Ну, что нового в Киеве?"

— „Что Антонович?"—скрипят половицы в гостиной... „Что пишет Грушевский?"—скрипит уже кресло... „Здоров ли Букреев? Захарченко-Ващенко так же толста?"—руки бросятся вправо и влево.

— „А как Костяковские?"

Старый профессор (болтун, либерал, австрофил),—весь надутый, косматый, седой овцебык, не старается выдохнуть ясно пахучего мненья; першит он медлительным словом и пфакает в

белый платок,—передутый, пропущенный, точно бутылка—ни звука; а папочка знает, что эта „бутылка“ таит много пены и шипа; и ходит вокруг, собираясь испить разговор, и очками поводит, облизываясь, как кот; он подсядет с „позвольте спросить“, чтоб вонзиться: своим языком, точно штопором:—

—вертит и вертит, и вертит его, и—потягивает за пробку; „бутылка“ и хлопнет; и пфукнув словами, она разольется шипучим шампанским; и все опьянеют; шипит „либеральный болтун“ и заводит еловые поросли слов; мама тихо сидит васильковою кофточкой; грудкою дышит, как веером, тихо колеблемым; вижу: заслушался ротик.

— „Ах, ах!“

— „Хорошо!“

— „Так красиво: так звучно“.

А папа сидит юмористиком: едко, раскосо смеется и смотрит внимательно, как положили турусы на дроги: стегнут лошаденку; и благоглупость—поехала; белендрикает очередной белендряс! Папа вдруг оборвет его, щелкнувши словом, как пробкою: дернется мамочка (губки стянулись колечком); пронзительный крик, поднимаемый папой, противником самостоятельной жизни окраин, ее удручает; а папа пойдет на окраины словом:

— „Позвольте, позвольте же вы!“

И под'ехавши тихо басами, подкинется взвизгами;—ну и пошел безраздельно кричать во весь рот:

— „Вы—от'явленный, батюшка мой: вы—от'явленный... Вы—с полячишками... Вы, я скажу вам, за Австрию...“—вскочит и ухает шагом; проходит тяжелым пропором чрез чуждые мнения он, ухватившись за мненье, как за сюртучную пуговку, крепкой рукой, припирая свой нос и свои два очка к подбородку Быкаенки (он его выше), на цыпочки встанет; припятится в угол Быкаенко; там претяжелым раздавом додавят его; уже личико мамочки все прохудеет от скуки; и—кинется прямо в глаза; и они раскалятся, и бегают, синие, как огонечки угарного газа; тяжелым угаром больна голова; обжигают угарные глазки придирчиво все, что ни будет пред ними: меня, так меня; вероятнее—папу.

Спор крепнет за чаем:

— „За Австрию, Австрию вы; украинская литература содержится, батюшка мой, на какие же деньги?.. Мы знаем-с про это!.. Вы, я доложу-ка вам...“

— „Я—за Шевченко... Шевченко затерли совсем москали“.

— „Как и Гоголя?“—едко хихикает папа.

— „Что Гоголь? Кацап... Вот—Шевченко... Шевченко...“

— „Шевченко Шевченкою“—ковырнет папа носом по воздуху... „А Антонович? А шайка его?“—и покажет глазами он в угол (и я посмотрю—не сидит ли в углу Антонович с какой-то шайкой); наш папа—русак; и я знаю от мамы, что быть

русаком,—это значит: перепоясавшись красными кушаками, стучать и кричать; мама этого очень не любит, а вижу, что дело пошло к русакам; вижу папа сидит, напрягая на все свои хитрые, „скифские" глазки, совсем бисеринки, блестящие „скифскими" точками зренья на все:—

—папа—

скиф, разрубатель вопросов, великий ругатель!—

—и

кажется папа тираном, готовым зарезать столовым ножом, кого хочешь,—столовым ножом, им рассеянно схваченным и ударяемым в споре по скатерти,—правда тупым лезвием (все же мама боялась за скатерть, за новую, что с петухами, а не за ту, что с павлинами); помню: всегда этим ножиком папа из скатерти силился сделать котлету:

— „Да, да—Антонович, скажу откровенно вам, есть иезуит!"

Но Быкаенко пыжится (вот и поедет скандал через стол!):

— „Что же, знаете, ведь Антонович прекрасный ученый, общественный деятель: наш украинский Эразм... Вы, наверное, не читали трудов Антоновича".

Папа же свалится словом: протянутым пальцем как тыкнет:

— „Читал-с!"

И—старается выставить армию доводов,—быстро привскочит на стуле, глазами вопьется в свое отраженье на меди (у нас самовар красной меди),

руками по воздуху рубит котлеты: и ну нам насвистывать, ну нам нащелкивать: мячиком прыгает слово по комнатам!

— „Но я скажу вам во-первых!.."

— „В-десятых!!"

— „В-двадцатых!!!"—

— „Да-с, да-с!"

Знаю: „да-с" это очень чревато; из „да-с" воспоследует:

— „Как-с?!?"

— „Что такое?!?"

— „Да я бы за это за все вас..."

Но тут, спохватившись, уронит:

— „Эхма!"

Безнадежно отбросит салфетку на скатерть; и снова пригорбится, щелкнет крахмалом сорочки, присядет на стуле, поставит простертой ладонью он руку (подкидывать перочинный свой ножичек, не принимая в расчет возражений); другою рукою за стул зацепится, сжавши под мышкой его, и готовится прыгнуть на все это—вместе со стулом; так спорят часами:—

—игрушку я видел: „Кузнец и Медведь"; передернуть дощечкой: Кузнец и Медведь закидаются бить молоточками—на середину меж ними; я вижу теперь, что все это—игра, тут „Кузнец и Медведь": и сидят и кидаются то кулаками, то словом: на середину меж ними:—

—переберутся все мненья; разложатся

папой, как карты: и эдак и так,—пасьянсиком; папа любил пасьянсики; и пасьянсики ловко слагал он из споров; подхватит все мненья Быкаенки; картами бросит на стол, разбросает и эдак и так, и Быкаенко смотрит, что выйдет из мнений его (просто чорт знает что); и пыхтит он—какое-то кислое тесто; в мозгах—кочевряжина; пальцем копает и капает белою перхотью с плеши на плечи; обиженно он начинает прощаться, оставив все мнения; папа, довольный теперь, что поспорил, спохватится вдруг—законфузится, трет свои руки; и провожая в переднюю гостя, не может в душе нахвалиться он им (единомышленников не любил: он любил лишь противников).

Красный и потный Быкаенко, точно из бани, перевязавшися шарфом, просунет из шапки свое овцебычье лицо, как за сеном, склоняется к папе, а папочка, весь просияв, свою голову, щурясь, вожмет в подлетевшие плечи:

— „Я, так сказать... Не принимайте слова мои к сердцу!“ И полной ладонью разрежет он воздух; и—шаркнет тяжелой ногой, залезая другою рукою в карман панталон, обвисающих ниже колен носорожьими складками;

да,—

—панталоны длиннее, чем следует; серый, широкий пиджак,—он короче, чем следует; ниже колен, провисая сукном, панталоны слагали вторые какие-то ноги, которыми папа ходил—носком внутрь—

—и качаясь сутулой спиною, чуть согнутой вправо, пойдет из передней, посасывая губою и щелкая звонко во рту языком, точно он напитался; отставленной левой рукой, зацепляющей все, размахался,—

—а в правой он держит всегда: разрезалочку, карандашик, иль томик,—

—и мама пристанет к нему:

— „Накричали?"

— „Да нет же-с"—моргает на мамочку он подбежавшими, точно колесики, быстрыми, виноватыми глазками.—

„Нет же-с, зачем: поговорили эдак, поспорили; так-с... обсуждали"—

—Какой обсуждали! Так многие, появившись первично у нас, не являлись вторично.—

А в мамочке, знаю, уже копошится презлой муравейничек слов, очень едких:

— „Не дали мне слово сказать... Нет, не дали же слова сказать! Я—сиди, как кухарка какая-то, перемывай чашки вам... Безобразие: срам!"

Закусается после надолго квартира (и здесь муравейчик, и там муравейчик); и папочка—шарк в кабинетик; за ним, следом,—мамочка; перемещается папа по комнатам; перемещается следом по комнатам мамочка; тут произносится многое; но о „я" или „вы"—нет помину; дилинькает мамочкин рот, колокольчик, о том, как „иные" из нас на словах говорят о числе и о мере, на деле же...;

да, есть какие-то „некоторые, которые...“; этих „некоторых“ не люблю; лучше б прямо сказала, что „вы“; а то „некоторые“—грубияны, архаровцы, руссопяты—заставят сердечко мое сильно биться; и думать, что „некоторые“ ведь вот—папа. „Некоторые“—поскорей носорогами по коридору проносятся: в клуб...

. . . . .

„ЭДАКОЕ ТАКОЕ СВОЕ“

И уж утро!

Заглянешь в окно; и—обцапкан вороньими лапками снег; и ворона к вороне прижалась у желоба: холодно—хохлятся; утро—невзрачное, нелюбопытное; скучно!

Вращается веретень дней—тень теней!

Моя детская—однооконная, синяя; шкаф: мамин шкаф; очень маленький столик, два стула, постель Генриэтты Мартыновны; и—постелька: моя; сундучок и комодик; на стуле кувшинчик и тазик; за дверью, на вешалке—платья, и юбки, и кофточки, вывернутые и глядящие глупо подмышником; принадлежало все это не мне: Генриэтте Мартыновне; в темном углу—этажерка с игрушками; образ над нею, старинный; таинственный изумруд зеленейше сверкал на кровавый рубин из венца богородицы, ямой руки ухватившей перловое тело младенца.

Я знаю, что выпадет их сребородие, снег: накладет серебрянников в кляклую оттепель; но—

оловянные лужи проступят и к вечеру сделают синий ледок (будет рдянь): он сбежит хлопотливою струечкой; снова появится: в большем количестве; все забелеет хлопчатою массой; и лужи остынут окладами холода: кладами льда:

— „Es ist kalt".

Насвистал, побежал продувной ветрогон—в неживой небосклон: свирепевших времен; уже в криках слезливые клавиши: мамочка села в столовой играть; уже хлынуло в ушки: хохочут уже надо всем. Запорхали события жизни в безбытии звуков; и мама, склоняясь над черным и резаным ящиком, взором ушла в белозубие клавишей; вижу: браслетка блистающе прыгает с маленькой ручки; серьга бриллиантит лиловенькой искоркой; мама припала головкою к звукам, дивуяся взлетными бровками (под завитушечкой)—звукам; она—разыгралась: не видит, не слышит; и—перетрясом головки она говорит:

— „Нет!"

— „Нет!"

— „Нет!"

— „Никогда, ни за что!"—

— „Как вы смеете, звуки?"

А звуки-то смеют: посмеет ли мамочка? Искорка только одна „э т о" смеет; и побежала с лиловых оттенков зелеными: стала—оранжевой...

Мы с Генриэттой Мартыновной—слушаем.

. . . . .

Да, Генриэтта Мартыновна, немочка, вовсе не злая—немая, немая: говаривал папа о ней:

— „Удивительно, знаете ли, ограниченная натура!"

Она *понимала*—все, все:

— „Понимаете?"

— „Ja!"

— „Понимаете?"

— „Ja, o gewiss—selbstverständig!"

Бывало поспорит с учеными папочка; дядя катает свой катышек хлеба, заохавши:

— „Чорт знает что: не поймешь!"

Генриэтта Мартыновна выскажет:

— „Я—поньяля!"

И курносо уставится папа, подбросивши ножик:

— „Все—поняли?"

Ножик поймает:

— „O, ja!"

— „И Спинозу, и Канта?"—а пальцы по скатерти пляшут горошками.

— „Ja, selbstverständig!"

— „Ну, хорошо же!"

Привскочит, бежит в кабинет своим правым, покатым плечом, раскачавши по воздуху левую руку; и выбегает оттуда с огромною математической книгою: фыркать на нас тарабардою:

— „Це на аш два, фи-би-ку, корень энный из „и", минус, плюс: дельта „а", дельта „бэ", дельта „це", дельта „де"... Понимаете?"

— „Ja, o gewiss!"

— „Повторите!“

— „Плюсь, миньюсь... Ja, ja: und so weiter!“

И папочка бурно подскачет (и даже подшаркнет)—

—любил, подшутивши, подпрыгнуть, подшаркнув: от этого падали бюстики (Пушкин себе отколол таким образом баку); и—

—и руки свои разведет юмористиком он, наклонясь шепоточком над дядечкой:

— „Видите, видите!..“

— „Я—говорил!“

— „Недалекая вовсе: бедняжка!“

Она—развивала во мне бледнодушие.

. . . . . .

А завелась просто так (очень многое в жизни заводится т а к: блошки, крошки, пылинки!); подуешь из ротика; и—помутнело от ротика; ты нарисуешь на потном пятне угловатую рожу трясущимся пальчиком, а от нее потекут к подоконнику капельки влаги дыханья; пятно отечет, и появится снова тот розовый дом Старикова напротив; под ним людогон побежал по дороге времен; знаю: омути есть осаждение влаги дыханья; и вот надышали на зеркало мне Генриэтту Мартыновну; кто-то дохнул перед зеркалом; и потеряв отражение, зеркало стало—белесым туманом; дохнули еще: и—сидит Генриэтта Мартыновна с очень хорошеньким личиком, белым, как мел, с бело-желтой косою,—такая какая-то вся: бледногубая,

бледно-безвекая, немо вперяясь в себя перед маминым зеркалом, лучше ее отражавшим; невыразительно смотрит, оскаливши рот, на бескровные, бледные десны; и...—

. . . . .

В хлопнувших, лопнувших громко железных листах закаталась погромная крыша под ветром—над нами; и хриплою психою ветер поднялся в трубе; и уж Альмочка песинской песней ему подвывает из темной передней:

— „Чего ты?“

Да, снегопись вызвездит свой серебрянник, когда ветрогон побежит в небосклон—по дороге времен, когда в лопнувших, хлопнувших громко железных листах закатается крыша над нами:—

—то—ветер!

. . . . .

Как мама уйдет,—Генриэтта Мартыновна тихо идет за альков: посмотреться; глядится, глядится—и эдак и так; завернет безответственный носик; и—силится, глазки скосивши, увидеть свой собственный профиль; я знаю уже: она—вымутень зеркала; пальчиком тронешь—ощупаешь только стекло; за стеклом же увидишь: херр Цетта, иль Германа; знаю: *она—не она; это*—Цетт, *о котором* с подругой они говорят на бульваре, когда мы гуляем; *они называют* херр Германа—Цеттом; и „Цетт“ этот прочно засел у нее в голове.

Тереблю за рукав,—*обернется*, уставится бледною немочью; и, поморгав, мне покажет бескровные

десны над глянцами ровных, фарфоровых зубок; едва я расслышу:

— „O du: dummes Kind!“

И—уткнется опять: и—не жди ничего; занимая себя самого, я брожу по пустой, отишавшей квартире; под рукомойником сяду на корточки; дверцы открою—смотрю; и стоит там ведро; я—потрогаю: склизкая „тля-тля“. Граненая, медная ручка от двери меня занимает; она—зеленеет: ее ототрут кирпичом; он—толченый; украдкой лизнул я: не вкусен кирпич; ручку хочется мне отвертеть; ну—а ну-ка, а ну-ка! Разлапое кресло косится ореховым деревом; мне улыбается лак; подойду и грызну его зубками; нет,—он невкусен!—

—А ну-ка: пойду выковыривать глину из печки; я выковыряю кусочек, да—в ротик: мне—нравится; эдакое какое-то в привкусе! Глинка!

. . . . . .

Из каждого зреет свое, чего мне не понять: „десять“—это: поднятие пальчиков ручек; и я—не ответил; „свое“—не „мое“; и „свое“ это—скрытый предмет, у другого, у всякого: мне—непонятный; раз мама сказала:

— „Да, да: он же—с „шиком...“ И да: у него есть т а к о е в о т: э д а к о е — с в о е!

— „Как? Какое?“

— „Такое вот!“—ручкой помахала под лобиком; глазки же—в скатерть: такая, какая-то вся—возбужденная.

И улыбнулась.

Меня осенило: у каждого спрятано где-то „с в о е“, о котором нельзя говорить, что оно: можно только, шептаться, как... громко шепталась с подругою Генриэтта; „с в о е“ у ней— Цетт, или Герман; херр Герман таится—под „Ц е т т о м“; его называют „п р е д м е т о м“; у каждого этот „предмет“; он у мамы; у папы— иной: тот же самый, какой у мужчин; свой предмет укрывают они; но раздень их—„п р е д м е т“ обнаружится.

. . . . .

Знаю, у каждого „эдакое такое“ растет, копошася отчетливым шорохом шопота, а об'яснение— спрятано в складках зажатого рта под ресницами; внятно я слышал: Дуняша—гуляет с приказчиком; эту Дуняшу держать невозможно; гуляю и я с Генриэттой Мартыновной; помню: увидев меня, мама сделала глазками:

— „Ах!“

— „Помолчите!“

— „Оставьте!“

— „Ребенок...“

— „Нельзя...“

Понимаю: я—сделал „р е б е н к а“: кувырк! мама, косу на грудь перекинув, кусала ее и покосилась на тетю:

— „Смотри-ка: на К о т и к а“.

— „Он кувыркается...“

— „И невдомек!..“

Захватила в охапку меня, да и „бац“—на кроватку: хохочет, играет, катает: подшлепнула; я—завизжал; мы—визжали; а после...—

— Намек стал д о м е к о м; расширились внятно врата пониманья—в завратные дали;—

— толкую:—

— Дуняша гуляет с приказчиком: это—не важно; Дуняша заходит с гуляний к приказчику: делают что-то, и это—важнее.—

— Кухарка имеет „свое“: появленье Петровича в кухне допущено; и—что-то, делают; что-то наделали;—

— после являются: „Котики“; как это там происходит,—не знаю; но,—знаю—

— явился откуда-то очень крикливый Егорка,—в прошедшем году; и—отправился он в „Воспитательный дом“; и Дуняша сказала, что ей очень стыдно, когда Афросинья ночует с своим „мужиком“; —

— да: так вот оно что: —

— неприлично лежать с мужиком; и Дуняшу держать невозможно за то, что она, нагулявшись с приказчиком, ходит к приказчику: спать.

Не мужик ли приказчик?

— „Да, как сказать, Котик, пожалуй, что,—да...“

И невидящим взглядом обмерив меня исподлобья, как будто ему предложили ученый вопрос, папа в двери толкнулся из комнаты, чтобы вшептывать что-то в страницы: там все у него ведь „с в о е".

Всего более это „свое" („в о т т а к о е в о т", жуткое)—в папочке; я чрез него сотрясался от страха не раз:—

— так: племянника папы я увидел однажды; и он мне понравился; а между тем—государственный был он преступник, отправленный в жаркий Ташкент с Кистяковским: —

— поднес ему кубики, вывалил их на колени к нему:

— „Выстрой домик!"

Но он отмахался:

— „Нет, нет!"

— „Не умеем..."

— „Мы все разрушаем..."

А я ему:

— „Выстрой!"

Он—выстроил: прелесть какой!—

— папа после потер подбородок трясущимся пальцем и выставил армию доводов против племянника, тяжко ногой припадая на пол и разрезавши в воздухе фразы свои разрезалкой, как книгой:

— „Единая целость России..."

— „Да, да, Вячеславенька,—знаешь ли—созидалась годами!.."

— „А вы—все разрушить!“

И мнение папы разрезанной книгой открылось пред нами:

— „Ну вот-с, Вячеславенька, ты осознал уж отчасти свои заблужденья...“

И долго ходил он, разохавшись:

— „Все Антонович!“

— „Да, да!“—

— „Антонович“—подтопнет на слове, бывало, настаивает и глазом и носом—„наускает, знаешь ли, ты, Вячеславенька, вас, молодежь, а сам—в сторону, в сторону!“—

— Охнет: и знаю; в глазах у него совершится при этом разгром, будто вынесли все: вместо полной мыслительной жизни квартиры—пустое осталося место; пустое—от ужаса, что Антонович и шайка его несомненно погубят единство России.

В моем представленьи давно Антонович, давно провонял на весь Киевский округ решеньем украсть убежденья: Володечки, Гореньки, Силочки, Димки, Вадимки, Олежки,—так точно, как он обокрал Вячеславеньку:—

—да, несомненно тут э т а к о е т а к о е с в о е,—

—потому что старик Антонович—профессор, как папа: из Киева; это—обман, это—„ц е т т“, или—маска: под ней Антонович, как кажется,—душемутительный каверзник, банный плескун, даже шайник, а это скверней, чем разбойник;

тот просто, присев при дороге, кидается острым ножом, передзызганным прежде точильщиком, прямо пыряет в живот, и—уходит, кряхтя, с очень толстым мешком на спине,—залегать в лопушиннике; этот от'явленный каверзник, скромно надевши профессорский форменный фрак, вылезает из бани—сплошным „Антоновичем", то-есть, таким, кто приходит в парами пыхтящую баню, повесивши форменный фрак, обнаруживать ужасы голых мужчин; и, весь мыльный и пахнущий плесенью, бросит туда, в свою шайку, племянника папы, которого только что выкрал он,—пустит туда кипятку из-под банного крана; племянник—еще неустойчивый молодой человек—растворится, как мыло: да, да: понимание—девочка в беленьком платьице—пляшет; и темные няни приходят бормочущим роем: ужасно невнятно, но—страшно занятно!—

—уже побежал ветрогон, по дороге времен; само время, испуганный заяц, бежало, прижав свои уши.

. . . . . .

Оторванно хлопает гнутым железным листом под окошком громимая вывеска в трудной натуге: аукает, охает, ахает все, что ни есть; и—потом все, что есть, приседает молчать под окошком до нового выбега: слышу из кухоньки звуки:

— „Дзан, дзан!"—

—Это, знаю, толбузят тупеющим пестиком в кухне миндаль.

И задумаюсь я надо всем этим миром—и бранным и тленным! Прислушаюсь я, как безглаво, безруко проходят немейшие тени в чернейшие ниши; там—сходка теней; там их многое-множество; угол прессует их мрачно; в углу закатались шуршащие шарики: мыши; и—быстроногие домыслы из головы побежали по комнатам; и безголово повисли сквозным руконогом теней; руконог побежал по паркетам—на стены; со стен—к потолку;—

—из теней приподымется вдруг чернорогий-безног, упадет многоручьем, обру́чит, обхватит и будет высасывать все, что ни есть, из меня, изливая в себя; и я буду метаться совсем невесомою тенью в его существе; и—упляшет со мною в огромные дали, за окна, где—

—в лопнувших, хлопнувших громко железных листах закаталась погромная крыша, громимая свистом:

— „Ай, ай!"

Прибегаю—назад: к Генриэтте Мартыновне; и тереблю за рукавчик ее; отвернется от зеркала, тихо уставится бледною немочью, тихо покажет бескровные десны и—скажет:

— „**Was willst du?**"

— „**O du, dummes Kind**".

И—не жди ничего: ничего не придумает.

. . . . . .

Помню—она все белела; кругом же бледнело; и бледно серело, и серо темнело—в углах; так

часами сидела пред маминым зеркалом; вдруг она—вскочит, возьмет меня за руку: быстро бежим мы от зеркала—через гостиную—в детскую; это—звонок, очень громкий: скрипят половицы; пошел самоход; это папа идет коридором из темной передней, закашлявшись, в форменном фраке, свисая большой головою направо и глядя на все исподлобья; он правой рукою прижал очень толстый портфель, бросив в воздухе левую и барабаня по стенам дрожащими пальцами; все умолкает; лишь ветер погромом проходит по крышам; в окошке посыпался снегом сплошной серебрянник; и хриплою психой завыла из папиной комнаты печка; из труб выкидными клочкастыми дымами хлещет по крышам и окнам; смотрю из окошка: уселись в темнейшие ниши белейшие крыши; грызунчики мыши—играют все тише...

Не жди ничего!

Разве вот—Малиновскую...

. . . . . .

В хмурый октябрь перебили нам кресла в оливковый цвет; да: и в хмурый октябрь появилась у нас—

—Малиновская!—

—зеленоносая, зеленолобая: серый одер в черно-серой косыночке!—

—едко вошла переплющенным плющиком: воздух испортила маме вопросиком:

— „А почему, дорогая, у вас появилась отдельная спальня? Так—да: так—и все!“

„Так и все“ у нее прибавлялось ко всякому слову; такое уж свойство, заметил я в ней: появляться туда, где свершался процесс разобщенья чего бы то ни было; все сообщенья ее приводили всегда к разобщенью; она сообщит что-нибудь,— разобщится веселое общество в злые фонтанчики ссор:—

—и фонтанчик такой начинал забивать между папой и мамой; да, да, говорят, людоед поедом ест людей; говорят про нее, что она поедом ест людей: людоеда такая!

Я помню события года и строй мерных месяцев именно с этого времени: да, с октября (в октябре я родился); октябрь этот был очень снежный!

Зима! Все дома, точно гробы: суровы сугробы; в трубе свищет злостью; ворона под окнами перебегает с обглоданной костью. Гляди: Малиновская будет тебе:

— „Так и все!“—

—И она появлялась: ее уважали ужасно в профессорском круге; что скажет Варвара Семеновна, то есть закон; и она говорила такие приятные вещи; бывало истают они сладкогрушевым вкусом в устах, коль отведаешь этих вещей; и наверное вскрикнешь потом: от желудочной рези и боли в кишках;—

—говорила такие приятные вещи мужьям о мужьях; и—такие

невкусные вещи: мужьям об их женах; мужья говорили:

— „Варвара Семеновна,—да! Человек уважаемый: двадцать пять раз прочитала она от доски до доски Соловьева, историка".

Жены же их отвечали:

— „Ужасный педант!"

И прибавил однажды у нас дядя Ерш:

— „Она—просто зеленый одер!"

Появилась в зеленой гостиной (при красной гостиной не помню ее!)

Содержала квартиру свою в лакированном блеске она; у нее было два только платья: одно—бледно-серое; и другое—зеленое; в первом она выезжала; а во втором—принимала; у нас говорила она, обнимая за талию мамочку:

— „Да, так и все,—дорогая... Везде у всех—пыль... Так и все... Как приеду домой... Так и все... Я сейчас же срываю с себя это платье... Так и все... А то, знаете ли, на подоле привозишь с собой из гостей столько пыли, что после приходится Аннушке пол подметать... И Николай вот Ирасович то же..."—

—Да, да: Николаем Ирасовичем обрывался все разговоры ее:—

—Николай же Ирасович был ее муж, предпочевший лет двадцать назад опуститься в могилу, чем жить таким способом...—

— У Малиновской так чисто, так чисто, что

слуги уже не метут восковые паркеты, а... лижут их; или, присев, ноготком, послюнявив его, отскребают игриво пылинку от полу; мне кажется: там натирают полы языком, как и все, что случится в профессорском круге; а у стены стоят доски, обитые серой, суконной материей, чтоб невзначай, прислонившись к обоям, на них не оставил *профессор своей головой маслянистого пятнышка*; даже подметки шагреневых туфель самой Малиновской чисты, так чисты, что из них варят суп, подавая гостям; и профессор отведает с радостью блюдо от этой подметки; полна она сладости; сладости—всюду;—

—в одной лишь постели заводятся гадости:—

—утром ей тошно от... собственной смятой постели; и на торжественном, именинном обеде у нас все об этом одном говорит, не боясь, что во время таких разговоров останется блюдо нетронутым.

— „Знаете,—да, дорогая моя; я как встану, так все,—вон из комнаты, вон; так и все; не могу, дорогая, я вынести вида постели неубранной; так—да, да, да: так и все; а то,—вырвет".

И блюдо—не тронуто: всех обнесут; и никто ни кусочка.

— „А отчего вы не кушаете, дорогая моя: так и все"?

— „Ах... Варвара Семеновна!.."

— „Да? Вы страдаете несварением пищи?.. Так: да..."

И она принимается, высказав все, что могла о себе рассказать, выговаривать вслух „Николая Ирасыча".

— „У Николая Ирасыча, да,—дорогая..."

Надеялись мы, что с постелью его обстоит дело лучше...

. . . . .

Приезд Малиновской связался с зеленой обивкой гостиной, с узнаньем, что сказка предметов есть волосы, войлок и пыль, с учащением ссор в нашем доме, с вмешательством в нашу семейную жизнь посторонних ушей, огорчающих мамочку; да, Малиновская знала о всех (и была—вездесуща); я слышал про то, что и стены имеют какие-то уши:

Какие же?

Думаю я: Малиновской!

Развесит у нас свои уши (сухие грибы принимал одно время за уши ее); и узнает она, что у нас появилася новая лампа:

— „Так все, дорогая!"

— „А я вот всегда говорю: постоянство и верность—естественное украшение женщины..."

— „Кстати..."

— „Скажите: зачем вы купили такую роскошную лампу, когда у вас старая лампа еще не испорчена".

— „А почему вы—так все—переместили гостиную?"

— „Непостоянная вы, дорогая моя!"

— „Так и все!"

— „Я всегда говорю: постоянство и верность— естественное, так и все...“

— „Николай мой Ирасович!“

— „Да!“

— „Так и все!“

— „Говорил то же самое..“

— „Да!“

Мама после—рыдает; а провисень штор зеленеет у нас, разлагая свет дня; зеленеем и мы безутешно.

. . . . . .

Уже Генриэтта Мартыновна тихо надела на голову гладкую шапочку с синей вуалькою: в мушках; идем на Арбат погулять: в людогоны. Долеты широких пролетов открылись обзором Арбата: летит сребропёрый снежок; и пушисто ложится; ворона с карниза нахохлилась: шариком; саночки режут полозьями снег до камней; припустилось бежать ярконосое, злое хмурье в башлыках; и бегут гимназистики в синих фуражках, украшенных бабочкой; прыснет в лицо серебристою свиснью; я—беленький; мы—отрясаемся; брызжем на землю мокреющей снеженью; там у кондитера Фельша, в окне разбросали конфетки в оранжевых, гладких бумажках; и то—„Пекторал“: карамельки от кашля—скорей бы закашлять! Другое окошко; его не люблю: там стоит гуттаперчевый мальчик, приставленный к мячику; мячик с таким наконечником...— нет, не люблю его! Раз заходили сюда: Генриэтта Мартыновна здесь покупала подмышники; дальше,

в окошке, кофейники, медные баночки,—неинтересны; мосье Реттере интересней: сидит за прилавком, такой чернобровый, такой чернобрадый:—

—потом его видывал седеньким я: наконец, я недавно стоял пред могильным крестом, где почил от трудов он!—

—такой чернобровый, такой чернобрадый, не то, что мужчины, бегущие здесь, на морозе: они—белодеды; они—синегубы; и даже прошел черномордиком—негр!

Вот сапожник Гринблат, где меня узнают, где меня ублажают; вот Бланк и Арбатская площадь (у Бланка любуюсь я чучелом волка и клетками с пестрыми птицами; ах, не люблю углового кофейного дома и вывески я: „Карл Морà...“).

Ай, ай, ай!

Повалило хлопчатою массой: слетают пушинники; мерин проезжий совсем поседел; побежал перепудренный пудель, наткнулся на глупую тумбу; и вдруг завилял, будто встретил знакомого: нюхает жадно визитную карточку пёсика—храбро поднимет мохнатую ногу на глупую тумбу:—

—мне папа рассказывал: песики песикам пишут открытки на тумбе; и песик, прочтя своим носиком буковки песика,—храбро поднимет мохнатую ногу на глупую тумбу!—

—Вот дети бегут: белоглавики! Личики красны, как клюковки; важно один пуховой

белоглавик ко мне подбежал: поиграть; его—знаю:

Капризник!

Сворачиваем в Малый в Кисловский переулок; боюся невнятиц; а здесь есть невнятица—„э д а к о е т а к о е с в о е“: два грифона, крылатые: и—я боюсь двух крылатых грифонов, поднявших две лапы над бойким под'ездом; боюся двух желтых, оскаленных каменных львов на воротах какого-то дома: вот спрыгнут:—

—такие же точно теперь—

—два грифона, под'явши две лапы над бойким под'ездом,—сидят: все еще. И сидят два оскаленных каменных льва на воротах такого же дома: того же все дома! Недавно еще проходил по Никитской (советской Никитской!): мотоциклетка стреляла бензином; член ВЦИК'а, в ушастой, снежающей шапке, пронесся на черном авто:—поглядел очень твердым лицом на меня; я свернул в Малый Кисловский; и я увидел, чего я боялся тому назад—тридцать пять лет: я увидел—

—грифонов, крылатых, под'явших две лапы над бойким под'ездом, двух желтых, оскаленных львов на воротах—того же все дома. Меня поражало „с в о е“ выраженье грифонов, кровавый какой-то оскал желтых львов; это снова „с в о е“; и при этом „с в о е“, столь ужасное...; знаю: „с в о е“ Афросиньи, Петровича, мамочки не столь ужасно, как это „с в о е“

выражение львов: непонятно, чудовищно!—

—Столь же чудовищно это „с в о е“ только в... папочке:—

—Да, Чебышев, математик: „с в о е“ он то самое: то-есть невнятица, бред; „Ч е б ы ш е в“—невозможно обмолвиться: об Антоновиче можно еще: „Ч е б ы ш е в“ же—запретен; скажи „Антонович“—налитие жил на краснеющем папином лбу я увижу немедленно; только скажи:

— „Чебышев!“ и—смертельная бледность проступит на лбу.

Если папу столкнуть с Чебышевым,—случится тяжелая мерзость: мгновенно косматыми станут они; и без крика завозятся оба один над другим, совершая с сопением подлое что-то; и—дверь предварительно громко защелкнувши; только увидят друг друга, за руки—ухватятся, и—пробегут в кабинетик; и мама зальется слезами:

— „Пустите!“

В ответ лишь—глухая возня: Чебышева над папой, иль папы над ним; и—пошлют за пожарными: взламывать двери; взломают, войдут: среди крови кровавый дрожит Чебышев—обессмысленно: папы—уж нет; или—нет Чебышева, а папа, клочкастый, затрепанный, залитый кровью, копается—

—в красной говядине!—

—точно собака какая-то!

О Чебышеве сказали однажды, забывши про папу, который, свисая на правый на бок головой и махая рукой с разрезалкою (левой)—на цыпочках вышел; и все позабыли его; скоро я забежал в кабинетик; и вот два окна кабинетика, точно огромных два глаза багровых (был вечер), расширились, тихо багря косяки, рукомойники, стекла; во всем этом красном—

—расхаживал папа,—

—о, нет,

не расхаживал: бегал на цыпочках, тихо крича про себя; и рукою, зажатою в крепкий кулак, на крутых поворотах—„раз-раз-раз-раз-раз"—ударял очень быстро по воздуху!

Падал на руки он очень большой головой: точно голову эту на плечи сажали с усилием два человека, сперва надорвавшись: сидела она—как-то так на боку.

. . . . . .

. . . . . .

Повернули с Арбата на Малый на Кисловский—ишь ты: безлюдие; знаю: гриффоны с под'ятою лапою ждут; и—за мною протянуты; но боюся и плачу; прошу повернуть; повернули—безлюдие кончилось; снова пошли людогоны; сапог золотой над Гринблатом качается в воздухе; все потемнело; и мне одиноко и строго; за снежными тучами все чересчур напряглось: ужасает; и вот занялся огонек—такой вещий; он злеет из близкого дома; и все чебышится, гриффонится, гримасирует

львовится; все подвывает; все окна—чернеют; садятся под окна; и ночь чернорого уставилась: в окна: а в окнах—безглазое!

. . . . .

БАБУШКА, ТЕТЕЧКА, ДЯДЕЧКА

Знаю бабусину бытопись!

В мàрком, кретоновом кресле, в протертостях прóсидня, никнет бабуся в своем гнедочалом, ушастом чепце и жует всякодéнщину: подорожала морквà, продавали мерзлятину; перкает словом:

— „Морквà-то!“

— „Мерзлятина!“

— „Щупаю я кочешок...“

— „Принесла, а он—вонь!“

И досадливо дедерючит рукою мухры кацавейки-китайки своей желтобайковой; и, успокоенно чавкая, снова марьяжит атласною мастью: марьяжи не сходятся:

— „Девка и есть!“

— „И такою остáнется“.

Тут мелконосо уставится в гиль. И меня приведут,—и моточек наденет на руки:

— „Ты так бы, малёк,—свои ручки держал!“

И мотает шершавый моток; разбухает бабусина бытопись быстро; я—просто моток; закусалося сзади; диван-то—блохач; пухоперая бабушка волос седой из ноздрей вывивает; и пушная вата клочится из правого уха; косится она окровавленным

взглядом, бася, точно козлище; шлепает в пол чернокан; и часы закипают увесистым шипом; и мёртвелью пахнет, варакает подо мною пружина.

Остынет в мерзлятине все: морозновáто!

Бабуся сидит тут неделю; воскресником ходит к обедне в таком старомодном „мантóне“ и в бóристой шляпе, с „мармóтками“ (шляпы такие не носят); ворочается: остывает в мерзлятине, заболевая мозжухой в костях и встречаясь всемесячно с Марьею Иродовной, с лихорадкою.

На окошке стоит мелколапчатый цветик, плеснея давно; за окошком—мокрель; вольноплясы снежинок—мелькают, мельтешут; приходит—зеваш: разеваю я ротик.

Вот—тетя—со службы: безбёдрая, мелколобая тетя—со взмутчивой мыслью:

— „Марьяжи—не вышли!“

— „Такою останешься!“

Тетя сидит у окна, малоплечая, палочка; на пустоличии пусто стоят перепорхи ресничек; она—в самодушии; молча таит непросветности; спросишь—дивится; и—губки надует; уставится в пустолёты пылиночек, в копоти потолочка, оцепенела из сумерок бледнью безглазого личика; маленький носик понюхает очень немысленно, втянет в себя запах каши, большим подбородком подвигает и—перетянется под потолок чернотою худеющих линий; она—пустоглазая; карие глазки для виду; как две посторонних наклейки они; перелетная моль

перепорхом ей сядет под лобик, краплёный кудряшками; скажется тут—перетрясом головки:

— „У Лизы есть новый канаус на платье".

— „А ну!"

— „Не скажите: за тарлатановой скатертью, там у Летаевых..."

— „Шла бы к Летаевым!"

И бабуся в сердцах оторвет обормотку от кофты; но тетя на зло ей под носом—начнет мимоход и увидит себя миловидой из зеркала, замолодуется и запевает:

— „Ла-ла... Ветерочек..."

— „Ла-ла!"

— „Чуть-чуть дышит!"

— „Ла-ла... Ветерочек... Ла-ла!.."

— „Не колышет!"

— „Ла-ла!"

Баба ей мокрогубо:

— „Эй, ты, завертушка: небось измозолишь и зеркало собственной милой персоной!"

Ей тетя на это:

— „Я—жить хочу!"

Тете пеняют:

— „Ты—гордая девушка!"

Гонит она от себя женихов; но—ей хочется жить; вот Петр Саввич: жених-женихом; и вдовец, и простец; он ведь пробовал: силился-силился-силился; и получил только „фырки":

— „Вы обратите внимание",—отщебечет смехухая мамочка, тонкий и стройный вьюнок,—„обратите внимание: Дотя!"

— „У всякого есть на столе чей-нибудь да портрет... у кого—жениха, у кого—обожателя, а у кого, у кого"—и поймавшись на зеркале, оцепенеет и смотрит на собственный выгибень стана, такая какая-то вся, белошея, атласная, в калоитовом ожерельи; и пробует золотулину волосочесного гребня (не выпадет ли?)...

— „У кого... у кого... Да, что я: у нее же, у Дoти, свой собственный, Дотин портрет на столе: ха-ха-ха!"

Отзывается папа на это:

— „Да, знаете: кто ни приблизится—„фырк!.."

Мама—тонкий и стройный вьюнок, росту среднего, стянутый крепким корсетом и снизу поддутый турнюром; в своей гелиотроповой юбочке, в басочке ярких атласов (тот цвет „масак&" я любил), на которой резвятся и прыгают ягодки голубоватого калоита,—вается, как угорь, когда весела; тетя Дотя безлобою, очень высокою палочкой ходит за нею: безгрудая, плоская; мама ощупает—все там дощечкой:

— „Да ты—без корсета?"

Зазеркает глазками, и залукавят две ямочки щечек:

— „Ну, как же Петр Саввич?"

А тетя Дотя брезгливо закроет рукою закрытую грудь:

— „Ах, оставьте вы!"

Мамочка в мочки просунет висюли „слезинки": и гранная блескочь закапает с синего светоча

зеленоватыми смыслами в красные страсти; а тетя — не капает; мамочка блесковой звездочкой перемеркает и росненькой веточкой перекачается; тетя протянута в скорбном решении:—

— перемогать телеграфную службу!

. . . . .

Приходит кислицею; и набивает оскомину; и начинает твердить Генриэтте Мартыновне о всему дому известных событиях нашей квартиры:

— „У вас был вчера поросенок...“

— „У Лизы теперь платье „крэм“, платье „прюн“.

— „Лиза едет на бал“.

Генриэтта Мартыновна, немочка, с очень хорошеньким личиком, белым, как мел, с бело-желтой косою, безвекая, бледно-безгубая, невыразительно выставит ей малокровные десны:

— „Прюн“, „крэм“...

— „Да, да...“

— „Gewiss“!

— „Selbstverständig...“

— „А „масака“ вы забыли...“

Тут тетечка из пустолета своих переморгов посмотрит на немочку:

— „Нет—не забыла: но „масака“—только баска...“

И обе свернут безответственно носики к зеркалу, чтобы... подглядывать профили.

Говорит исключительно тетя о маме,—словами, принадлежащими маме и обращенными к маме,

передавая скучающей маме уже пережитое мамою— маме.

— „А у тебя платье крэм!"

— „Масака не забыла я..."

— „Был поросенок у вас за столом..."

Мама ей:

— „Что ж из этого?"

И принимается петь она:

— „Ла-ла-ла... Ветерочек... Ла-ла... Чуть-чуть дышит... Ла-ла... Не колышет..."

И тетя ей вторит:

— „Ла-ля... Не колышет..."

. . . . . .

Я помню:—

—белеет, бледнеет; и бледно сереет; и серо замглеет; пепли́т:—

— оловянные се́рени морготнею морочат, а мамочка, выпучив бюст из атласа, возвысивши пышность грудей, протурнюрит обтянутой юбкой с канаусовой подкладкою—

— варнака, вертлява!—

— пред тетею сядет, и пышный турнюр загибается тотчас же на-бок; я вижу—не в духе она: тете Доте достанется:

— „Да, Михаил наш Васильевич—редкий, да-да: удивительный; он—благодетель!"

А тетя—безгласит, почуяв засаду:

— „Ты что?"

Тетя Дотя начнет рисовать очень внешне на бледно-белясом лице, точно углем на белой бумаге, легчайше стираемый тонкий налет облетающей пыли,—свои выраженья:

— „Да, да, Михаил наш Васильевич, редкий, да-да: удивительный.

Мама на это—с насмешкой, с припорхом, с настойчивой верткостью:

— „Светлая личность!"

И тетя моргнет пустоличием в стекла: и тетя дадакает:

— „Светлая личность!"

В окошке пойдут ветромахи; а мама—бывало:

— „Ты – говоришь то же самое... Я говорю: Михаил наш Васильевич—такое явление, что..." Мама взгу́бится, ноздри ее злопыхают досадой на тетю; вот стала пред зеркалом—взаверт...

И тетя елозает глазками в окна:

— „Да, я говорю то же самое: это такое явление, что"—а за стеклами—там, где туман, висене́ц оловянный, упал перепорхом снежинок, сварившихся в капельки,—сеянец-дождик пошел: моргасинник! Уже с желобов-водохлебов вирухает водная таль:

— „Это—сила!"

И тетя старается вызернить мнение:

— „Я говорю то же самое: сила!"

— „И вы ей обязаны!"

Тетечка дернется лобиком в малых кудряшках:

— „Обязаны!"

И предметы летят в безживóтье, в бездонник: становятся морочнем ночи—

—ночами стоят безбойные стены; ночами приходят безглазые люди;

смотрю:—

—тетя Дотя без глаз: лишь две впадины в сумерках странно чернеют: боюсь, что во мраке ночном подменяются людям глаза: кто добреет на свете глазами, как знать: безысходною злобою смотрит из мрака; вот—бабушка:—

—можно сказать, прожила состояние мамы и тети; так вот: тетя Дотя—ходила в постельку, когда была маленькой; нынче же хочет все „жить"—без мужчины: и ставит на столике собственный, Дотин портрет!

Чуть мизикает лампа-кривуля своим керосиновым пламенем...

. . . . . .

Помню я с бабушкой, с тетей у бабушки мы; злобно смотрится бабушка суриком глазок; а тетя, надевши немаркое платье, вражбúт; и приходит со службы худой дядя Вася.

Он—бякала-мямля, каурый, двубакий кашлюн, в куреслепе веснушек раскроет свой рот желтозубый; покажет кадык, расклокóчится бáрдами; глазом—на тетю; и глазом—на бабушку.

— „Хе-хе: мамаша!"

И тетя—на бабушку: оба они уже знают, что знают.

— „Мамаша!“

„Мамаша“ и есть (образуется словом „мамаша“ какое-то „их нее“), петухоперая бабушка вся растопорщится: глазом она бедоглазит—на тетю, на дядю.

И дядя—пройдет!

. . . . . .

Дядя Вася имеет: кокарду, усердную службу, жетон; он—представлен к медальке; но—клёкнет; и—кѐркает кашлем; пять лет обивает пороги казенной палаты.

А—чем? Если войлоком—просто, а камнем—не просто; за мазаным столиком горбится он в три погибели—с очень разборчивым почерком:—

—Как это так? В три погибели?—

—Думаю я о погибелях этих:—

—Мне жаль дядю Васю; он—бу́нит: согнется,—наверно его голова упадет на паркет, и он баками будет мести; а быть может, согнутие в эти погибели хуже—

—согнувшийся голову всунет под

ноги: зубами
вытаскивать соб-
ственные носовые
платки—из-за фалды!—

И—

—ах—

—его комнатка: холодно! Бабушка войлоком зимами дверь обивает, чтоб ноги себе защитить от мороза.

— „И—просто нет мочи!"

— „В Васильевой комнате"—

—бабушка это „в Васильевой комнате" произносит с такою глубокою злобой, как будто в „Васильевой комнате" кто-то виновен: виновен—„Василий!"

— „В Васильевой комнате—лютый морозище!"

— „Да уж нельзя сказать, да уж—Василий..."

Нельзя сказать—знаю: нельзя сказать—что? „Чтоб Василий"? А что—„чтоб Василий?" Но—знаю: „Василий". Товарищ, Летков, называет его беданюхой.

Василию вменяется бабушкой „все" что угодно: что пóд ноги дует, что дух идет терпкий оттуда и каши и клея, что мухами там иззернен протлевающий лист приложенья, что много кривого

картона, прикрытого прессом; что в дядином катарральном составе под'емлется урч.

Вот, вернувшися с „третьей погибели", дядя засядет: себя упражнять в переплетном искусстве: и бу́нит, бунчи́т себе по́д нос.

— „Да, да!"

— „Ремесло!"

— „Вещь—полезная!"

Это все—папочка: их поставщик! И—портной, и—садовник порывов; ему благодарно семейство за то, что его одаряют советами, лаской, деньгой и продуктами.

— „Вот—шерстяная материя: Доте на платье; она—неизносная; лучше она прошлогодней".

И—знаю: материя этого года всегда—неизносней и лучше материи прошлого года; я думаю: если такие подарки продолжатся из году в год,—то, наверное, лет через двадцать придется дарить тете Доте парчу, потому что иные материи (те, что похуже) наверное все передарены будут.

— „Не благодари меня: это—Михаил Васильевич!"

Папа—даритель, хранитель, целитель; и - вечный советчик: рекомендует он дядечке скучный досуг превратить в ремесло.

— „Да, да, ремесло—вещь полезная..."

— „Видите ли: отвлекает оно от навязчивых мыслей!"

— „Как эдак захочется вам,—вы, Василий Егорыч, возьмите-ка... Переплетите-ка мне в библиотеку „Математический Вестник"...

— „Вам—заработок, мне же—польза: годов восемнадцать могу вам отдать в переплет".

Дядя силится стать переплетчиком, но—бесогон он какой-то.

Так: после занятия над калабашкою каши сидит с громким „и к о м"; в тисненую кожу попробует он заключить что-нибудь,—не идет.

— „Морозновато!"

— „Брр-брр!"

И пойдет согреваться по комнатам.

Вот он подумает, что—милован; и собою милóшится в зеркале; ногу отставит, и барды расправит.

— „А чем не мозгай?"

Постоит мигачом; и кадык у него—скакуном; перевéртится фертиком; и черным чоботом чокнет по чоботу.

— „Ишь ты: подишь ты!"

И—пустится он выкаблучивать перед бабусей: бабуся—козлом на него.

— „Ну, чего ты?"

— „Морква-то, небось, стоит дорого!"

— „Ты-то чего дедерючишь?"

— „Капусты купила, варила, варила: мерзлятина!"

— „Вонь!"

Дядя Вася опомнится, крякает:

— „Морозновато!"

— „Брр-брр!"

И—к себе: навестить „Х р а п о в и ц к и х"...

И вскоре уже посылает пронзительный всхрап от мороженной стенки, с трехногой постели, безбрюхий, мозглявый комар, переломленный на-двое с бакой, прижатой к подушке, открывши свой рот и желтея веснушкой; какой малодошлый работник! Тканьевое одеяльце серо; а по серому полю поют петухи, перетертые многим лежаньем; на гвоздике—шапка с кокардой; и—скрипка; мурлышка сидит под геранью; такого же цвета обои; темней—пятна сырости; где уголок обметает морозом,—снежиночки хладно снимаются пальцами.

Так он живет: прилежáка какая-то!

Ходит отсюда обедать—к нам, в праздник; коснеет; при спорах в его голове—мозголом; он сидит—мозготрясом; перекатает все ломтики; с'ест; остолбенело смеется; и—хлопает веками; пробует изредка он буторахнуться мыслями; и—потнолобый от этих усилий, совсем не мозганит.

— „Да, да!"

— „Ремесло!"

— „Вещь полезная!"

— „Вещь!"

— „Ремесло".

И—опять забезгласит.

Приходит с ним тетечка.

— „Ну, как у вас..."

— „Ах: „м а м а ш а"!"

Сидит подпирая подпертой рукою (другою)—головку; моргает в таком положении: палочкой,

палочкой грудь; так безбёдро привстанет, безбедро пройдется к окну.

— „Телеграф!“

— „Надоел!“

. . . . . .

Дяди-Васина драная жизнь – пополам; признаю половину одну:—

—дядя Вася безженый, безбабый, и как говорят — не „м о з г а й“, но крепчающий задним умом, мозгопятый, но все же с достоинством, скромно сидит, защипнувши рукой бакенбарду, закутанный белой салфеткой, и ширит глаза в разговор,—

—а другою рукою катает он мякиш-алякиш; и папа к нему прислоняется мнением, булгатнёю своею:

— „Я вам говорю: вы, Василий Егорович“—бородатит в крахмал он:

— „Вы, прямо скажу вам“...

— „Оставили б это!“

И открывается этим другая, „с в о я“ половина разорванной дядиной жизни:—

—где дядя такой притихайка, блекавый, минающий мякиш в алякуши и доверяющий всяким словам—

— появляется перед нами—другой: об'едающий бабушку, очень крикливый керкун, голосящий на всех:

— „Вы-то все хороши: водохряки!"

Он громко бахорит, зюзюкнув рябиновки; глупый бабич, костыляет по полу, бунчит себе пóд нос, кабачит:

— „Эй вы, водохряки!"

И примется в пляс подкаблучивать он коловертом—подпертым.

Да я, Васька Пазухов—
Дую ром без лишних слов!

Да и бабнёт непристойность, осклабится весь и покажет „л а л а к и" свои (это, знаю я, десны: так бабушка их называет), гогочет-кокочет, заперкает, выпустит лётное слово; и—сгинет дня на три; и бабушка скажет:

— „Уж говорю вам, добабится он до беды!"

Раз она появилась; и стала бубанить, бубенить; и—бутетéнь подымался по этому поводу.

— „Что вы?"

— „Опять?"

Ерепенилась бабушка.

— „Что бы вы там ни сказали, а он—скандалист, этот самый Василий Егорович ваш!"

Заслонялась руками от носа, которым старался наш папа ей в'ехать в лицо меж ладонями, и об'явила: „Запой"; думал: это наверно расстройство желудочка, с громким скандалом: ему бы куриного супца; открылся мне из бабусиных слов:

— „Он—бузыга!“

А что есть „бузыга“? У Даля—найдешь, а в головке—сыщи-ка!—Опять:—

—понимание, девочка в беленьком платьице, пляшет; и темные няни приходят бормочущим роем: ужасно невнятно, но—страшно занятно!

. . . . . .

И мама играет:—

—снялось, понеслось; запорхали события жизни в безбытии звуков; опять заходил по годам кто-то длинный; то—дядя; он встал на худые ходули: на ноги; уходит от нас—навсегда по белеющим крышам: уходит на небо; и принимается с неба на нас брекотать: — „Да устал я сгибаться „в своих трех погибелях“: будет!“

— „Устал обивать я пороги казенной палаты!

— „Вот—войлок, вот—камни: пускай обивают другие“

— „Устал от ремесл: не полезная вещь ремесло!..“

— „Ухожу я от вас!“

. . . .

— „Дядя, дядечка—милый: и я...“

Мама бренькает ручкой по клавишам; и булгатня подымается звуками; стала она такой маленькой, миленькой; выставит шейку; и—точно робея, проходит по звукам—на цыпочках: девочкой; и—самородною родинкой склонится; превыразительно звуки она переводит глазами, которые с низу

страницы как прыгнут наверх: на крючочек, на ноту:—

—и я ухожу в эту жизнь; и
—как есть ничего, эта жизнь; его
—комнатка! Холодно: бабушка
дверь обивает, чтоб ноги
себе защитить и—

. . . .

Ах!

Временно время,—но бременно время; бормочет отданными днями; и — раздается нам—в уши, нам—в души!

РУЛАДА

А мамочка так же звучит, как рулада; рояль принимается мне выговаривать звуки ее.

Мама сядет наигрывать; руки льют звуки; рулада течет, руколивною трелью запенясь о клавиш, обрызнувши душу мою дишкантом: в пропасть падает сосредоточенный бас, тяготеющий весом: поверхностей клавишей зычно расстались на гребни, моргая диэзами; море морочит.

То—мама: опять принялась выговаривать; яркает грацией, яркой градацией, жестикуляцией гаммы: от птичьего пенья до... взвизга, до... тигра; лимонным цветком нежно пахнет; дивуется взлетными бровками: глазки—анютины.

Нежно она произносит шаги своим шелковым шопотом, ярко живея духами, надев ярко розовый свой казакин, обвисающий кремовым кружевом,

звонко воскликнувши связкой ключей—произносит шаги по ковру: к шифоньеру, где ясною массой атласа отплющились платья, где пучится этот турнюр—

— находимый под юбками —

— даже, я знаю,

у немочки есть та подушечка; знаю, такую подушечку ловко подвяжут, где надо, чтоб быть полнобокой.—

— Вращая боками и прыгая родинкой, мама проходит с турнюром в руках, мимоходом бросаясь глазами в окошко.

Закат, как лимонный цветок, нежно пахнет: настоем цветов; парфюмерией полнятся комнаты.

. . . . . .

Хлынет из прошлого в душу ее переливчатый образ.

„Добро", или „зло"—только пена пучины того, своего, что есть в каждом; „свое" раскричалося в маме фантазией пальм и болтливым бабьём баобабов, в котором открылся фонтан разноцветных колибри, топтались слоны и воняли гиены: зоологический сад, а не мамочка; Индия, а не профессорский круг девяностых годов, не Арбат; только старый китаец, мой папа, сумел претворить этот круг в философию „Тао" Лао-Дзы, советуя видеть грудастых профессорш не бабами,—парками, а надоедливых мух переделать в „занятные, знаете, очень машинки".

Профессорши,—даже не м у х и; Бобынин профессор не глуп; но... себя посадите меж ними тропический лес обернется в болтливую скуку ученых нечесанных баб, поживших когда-то мужей на „с в о и х“ убежденьях;—

— профессорши маму не любят: ее провожают они криворотою злобой; для них она—девочка: и—понароют кругом волчьи ямы обычаев: мамочку ловят в обычай профессорской жизни: на кухне ушами повисли сухие грибы: Малиновская — слушает; стены — ушаты...

— „Так, да, дорогая моя!..“

— „Почему это,—да?“

— „Почему это вы не бываете в обществе трезвости, да...“

— „Все мы, так, там бываем!“

— „И Софья Змиевна, и Анна Горгоновна с Анной Оскаловной“.

Змеи, горгоны, оскалы мерещутся мне: очень страшен „оскал“ — криворотая злоба профессорш:—

— я видел картиночку; красную лиску, которую травят собаками; где-то разлаялось все это: мамочка, лиска, оскалилась крепко на это:—

— профессорш боялся:—

— особенно той, Докторовской; да, да, у нее очень толстое то, на что все надевают турнюр; все, бывало, бабакает

с тем, кто развел реферат, бременел диссертацией; и подставляет тому, кто еще не орал рефератов, *претолстое то, что собой представляет* турнюр; подставляет и мамочке, кроя ей глазки ледками;—

— а ветхие крысы Слепцовы из норочек выставят носики: нюхать ее красоту и выписки-вать вслух, что—нет, нет: не красива она, что ей надо бы косы обстричь; огорчается писками: глазки — ледяные бмутни; мерзнут; —

— и пустят потом по щекам бисеринку: в платочек; растаяли: бабочкой вновь залетали по пальмам: запахло весною; и—белой болоночкой, Альмочкой, чесаной гребешечком с пробором на лобике; весело севши в качалочку шелковым шопотом, ножку на ножку подкинула: красная туфелька очень игриво свисает с носочка—

— зацапкала Альмочка лапками по полу,—хвостиком в воздух: гам-гам; а носочек вращается маленьким пальчиком, точно гусиная мордочка: красная туфелька шлепнула на пол; болоночка—пустится бегать кругами, как заяц, схвативши зубами, как лакомство, туфельку; я же, сбиваясь в карачки, комочком переползаю под ножку, как Альмочка; мамочка, ярко цветя самодушием, косу свою перекинет, смеется:

— „Глядите!“

— „Ловите!“

— „Держите!“

— „Кривляется Котик!“

Слетает с качалки, защелкав в ладони.

И—гонит; обхватит, катаясь со мной по ковру, волосатится гребнями виснущих кос надо мной; вижу—в ямочке шейной, под кожей, задвигалась мышка; головкою прямо да в юбочку маме, в сплошной шелестинник ее крэп-де-шиневый; и—приподымет подол моего темносинего платьица: громко подшлепает там, где положено шлепать: пускай себе шлепает, это — такая игра между нами!

. . . . . .

Вздыхала, что стану, как мушка, „занятной машинкою“, сложенной папочкой.

Грезился ей—молодой человек, математик, внимающий разговорам о „модулях“, предпочитающий их яркой силе, в ней бьющей, не слышащий музыки и очконосый—

— нельзя Тинторетто повесить бок-о-бок с фламандскими зайцами или с фламандскою, пусть добродетельной, тучной и красной кухаркой в перекрахмаленном чепчике; папа—подвесил: ландшафт итальянский к ландшафту... ученой кухарки:—

— к профессорше Кисленко—маму!—

— И мама дрожала, боясь, что калечат меня, облекая меня в выходной сюртучок из науки.

Спросили бы папу:

— „А что заказать нам Коту?“

Он ответил бы:

— „Что же-с?“

— „Купите ему котелочек!“

— „Да, да!“

— „Закажите ему сюртучечек!“

Мне мог бы, наверное, он поднести к именинам футляр для очков.

Он все силился мне об'яснить проявления жизни сложеньем стремительных сил с центробежными; этот подарок подобен „футляру“. Я выглядел в силах, как в сильных очках,—очень хило; дудил он:

— „В том сила!“

— „Вот сила!“

— „Не в этом же сила!“

— Но что же есть „с и л а“?

И—„с и л а“ откликнулась образом Силы (Силантия), сыном Ерша (то-есть дяди Ерша). Этот—выглядел „х и л о“; и—умер; и—думалось мне:

— „Да не в этом же сила!“

— „В том сила, что „с и л а“—Силантий!“ А этот Силантий—хилел да хилел; если б по́нял я „с и л ы“, то—стал бы я хилый; и умер бы я, не достигнувши „с и л ы“.

И все говорили весьма укоризненно папе:

— „Оставьте: еще преждевременно он разовьется, да и умрет, как ваш Сила“.

— „А вы!“

. . . . . .

И—бывало—

— руладой раскатятся хилые силы, как нитка хруста́линок по полу; ноты на гамму нанижутся так, как на нитку хрусталинки:—

—из бурелома трезвучий, гонимого где-то, звездеюще выблестит тонкая нота; другая звездеет из первой, дробимая трелями дишкантового бзерца в выливень ясных мушинок; у берега: зреют по черненьким косточкам блески от маминых пальчиков; и—заколотятся снова в утесистый бас, выбухающий в бездну и бьющий созвучно лежащее в визги; и—дзя́ною радостью вымоет, шипною пеной покроются камни аккордов; и—застится четкость руладного контура дымкой педали; раздастся:—

— между дишкантами и басом —

— страдающий, человеческий голос, и—

—давится басом; и—гибнет бесследно; я—плачу: какие-то вихри поднимутся выхватом, как светолапое пламя, из грудки:—

— ввиваясь в пространство и в быстрень событий; охватит пространство: пространством безбытий—

—пространства раз'ялись в нестои: составом дневным; где густела лиловая ночь,—выпрозрачнилось утро; расстрелами ясности резалась ярко материя ночи; прошла неизвестность: синеет окрестность, чтоб

стать голубою, дневною волною,—

— то мама, играя, опять удивляется взлетными бровками; венчик витушек танцует на лобике; капелькой пота об'яснился носик; и—

— ах!—

— заробевши, проходит по звукам,—на цыпочках: девочкой! И—самородною родинкой немо взирает мне в душу; совсем изумрудится глазками; с низу страницы как прыгнут наверх,—на крючочек, на ноту они.

Постою, посмотрю: полюблю!

Это—яд; это—сладостный яд Возрождения, где выступают поступком, взирают решением, любят и губят без правила: в звуках; совсем не моральная жизнь—музыкальная:

— „Котик мой!"

— „Сила—не в этом, а в том, что..."

— „Нет с и л!"

Только пчелки, летящие с маминых губок медочком—сластят; а порою и жалят: закон основания—где? Папа этот закон применяет к себе: заведет молодого, очкастого юношу,—на основании строгих, проверочных испытаний ведет к доцентуре; а мамочка скажется выблеском:

— „Да: он—чинуша!"

— „Воняет трухою!"

— „Обманетесь..."

Лет через двадцать былой м о л о д о й ч е л о в е к—попечитель учебного округа: стонет весь округ!

Права-то ведь мамочка: без оснований!

. . . . . .

Люблю прохудевшее личико с гордою родинкой, с носиком тонким, точеным, и с—розовой щечкой; и ротик, немного обиженный, сложенный, точно цветок,—росянеет перловыми, ровными зубками; ямочкой, еле заметной, игрив подбородок; и лобик, не рослый, себя об'ясняет бегучими дугами перелетающих, соболиных бровей, подымающих дуги морщинок, а то приседающих к полуизогнутым черным ресницам анютиных глазок, доверчивых, или обиженных и подозрительно зорких, как пьявочки—

— так и вопьются!

Обидится:—

—ротиком, ставшим совсем червячонком!

Смеется:—

— и явятся ямки!—

— Поднимется пухлая губка; и — видятся — зубки... Прищурятся глазки, махнувши фатою ресниц и проглядно метнувши две искорки; склонится на-бок головка; осыплется гущей каштановых пышных волос;—

— и —

—такою московской красавицей мамочка станет: с картины Маковского; „Свадебный пир“!—

— В этой позе невесты собой залюбуется в зеркале!

Папа носатится кряжистым гномом (скрипит половица): похлопать по плечику; мама ему покорится, едва розовея улыбкой, милующей нас, нашу жизнь и летящей навстречу какому-то бывшему опыту, *после которого*—стоит ли жить, *без которого*—стоит ли верить? Улыбка, несчастная, длится секундочку;—

—явно

другою улыбкой, скрывающей первую, с папой снесется; а первая—сядет куда-то: совсем в уголочек.—

— Вторая

есть речка домашних забот.

Папа эту улыбку заметит, а первой—не видит; и—продолжает потрепывать маму по плечику:

— „Вот: я купила—две скатерти!"

— „Вот: посмотрите!"

И папа, не глядя, прихлопнет по плечику:

— „Так-с!"

— „Да не таксите, а посмотрите внимательно..."

— „Эта, вот, видите: вся—петухами; мне стоила..."

— „Эта, вот!"

Папа колотится мнением:

— „Так-с: превосходно—прекрасная... И—с петухами, и—стоит недорого".

И продолжает пощелкивать.

Папа сегодня постригся: смелеет—совсем небольшой бородой, ставшей вдвое колючее; шея от этого кажется толще; и более зверским лицо: ах, зачем он обстригся?

О, нет: никогда не поймут они верно друг друга, а я—понимаю уже: мама—точно „невеста" картины Маковского „Свадебный пир", ну, а папа,—какой женишок? Стало быть?..

Домышляю:—

—а домыслы—вещи опасные:—

—вещи вещают о том, как им быть в этом случае; вещие вещи понять, это—значит: отставить границы меж ними и мною; и заставляю—

—себя сознавать уже папою: мамы и папы; они не допустят во мне опрокинутость эту; отрезан от них в понимании очень опасных и вещих вещей; ухожу в немоту, преступаю черту;—

—и преступность моя—откровение истины без осознанья того, что оно—откровение; не осознать правоты своих знаний—не значит ли: быть в преступлении;—

—да!—

— Грех преступности—робость!

. . . . . .

Уж слышал от мамы: на данном обеде Тургеневу маму с Салтановой так посадили, чтоб видел Тургенев красавиц: пред пышным букетом цветов; и Тургенев, надевши пенснэ с широчайшею черною лентою,—маму разглядывал; папа, согретый шампанским, сказал лучше всех; и слабей Боборыкин, пустив пароходиком слово—впе-

ред, и оставивши лодочкой мысль—позади,—

—Боборыкин,—

—который весь в желтом, которого называет „Петрушею“ София Александровна... Боборыкина...—

—видел его я в Лугано в шестнадцатом, кажется (этого века); и он вспоминал:

— „Михаил-то Васильич бывало!“

Да, да: Боборыкин советовал маме заняться с ним дикцией:

— „Я говорю вам!“

— „У вас очень много прекраснейших, артистических данных!“

— „О, русские женщины, русские женщины, не понимаю я вас; нет, как можно: хозяйство, и дети, и кухня, когда артистический мир—вам доступен!“

— „Я вам говорю...“

— „Вы послушайте: „Петр Боборыкин“— сказал (его помню—высокий, вертлявый, весь в желтом, весь в пестром; к очкам приставляет лорнет; и нальется, и бьется багровыми жилами череп; и вскочет, и сядет; и схватится пальцами за завитушечку кресельной спинки), и мама бывало внимает: и—тянется к сцене.

Все яркое, чем я живу—это мама во мне: прожурчит разговором; и выпадут: рыбка златая, хрусталик и яркая тряпочка; я поднимаю хрусталик к лицу ее—ручкою прочь она; звонче рассказывать; очень рассеянно спутает мне волосенки

браслеткой заденет по носику: пахнет весною—лугами: прозябли рассказы о мамином детстве; букетики цветиков ставит она перед нами:—

— да, Звездочкой звали ее: эта девочка, Звездочка, вышла из маминых глазок; она, как и я; она—девочка, Звездочка; мы побежали на луг: людоедное время погонится—

— помню: она говорит, как на сцене; значительно смеряет взглядом и палец приложит к губам:

— „А вы знаете что?"

Прозвучит это „знаете что" на всю комнату; я побросаю паяца, переползаю на коврик, сижу под коленками, ротик раскрою—на то, как разжалась на стол локоточком изгибная ручка сверкающе—желтоливным бериллом; она—словодар; Генриэтта Мартыновна, та,—словоём, мама действует мимикой:—

—ручки расставит: направо-налево; и—тешится песней:

О, мой Пиппо́, все та же я,
И так же все люблю тебя—

— и я брошусь кричать:

— „А теперь—тараканов!"

Она же:

Да, где тараканов так много,
О, да: где их много,—
Там в доме есть бла-го-дать:
Бла-го-дать!

Знаю я, что Маскóтт—Зорина (в оперетке Лентовского: ходит Лентовский в поддевке); Пиппо—был Огнев, Роман Яклич, теперь поступивший в Мариинский театр, очертевший в страстях Мефистофеля вместо Кондратьева и умоляющий Поликсену Борисовну в арии Демона взять его руку и сердце; она несогласна; но, но—называя Огнева „Ромашей"—ему отвечает:—

—и мамочка тут облизнется, согнется головкою, и исподлобья повыпрыгнет глазками, как Поликсена Борисовна:

— „Ты бы, Ромаша, поехал с визитом к Направнику?"

После:—

— оскалится ротиком, и—
очертеет глазами; я слышу:—

—как длинный „Ромаша", оскаливши зубы, басит во весь рот:

— „Чорт возьми!"

— „Не поеду!"

Боится Направника он: оттого и не едет; ему говорят:

— „Ах, Ромаша, Ромаша: поехал бы ты..."

Это все разговоры о том, как жила в Петербурге, у Поликсены Борисовны Блещенской, мамочка: около Мойки; персона из царской фамилии к чаю приехала: дикий Ромаша сидел за альковом, не смея сморкнуться;—

— в кольцо бирюзовое

смотрит; и—собирается с новою мыслью; из левой руки, от колена, завьет папироска кудрявую струйку (да, мамочка стала прикуривать что-то); пройдется,—улыбка—та, п е р в а я:

— „Ах...“

— „Петербург!..“

Говорит это все для себя „самоё“: хочет высказать вслух: ей поется; все—до-нельзя ярко и до-нельзя все мне понятно, как... музыка; что вот,—не знаю; глаза закрываю,—лицом к крэп-де-шиновой кофточке; ручку положит ко мне на головку, играя рассеянно локоном: смотрится в локон; теперь с разгасившимся вовсе лицом переживает сама она это все...—

— восклицающим высвистом дзанкая в стекла снегами,—порывы, за стеклами, там: затянули прозоры... за стеклами; снова Арбат овивается беловенечной фатою: за стеклами; кто-то в трубе принялся выборматывать—то же:

— „О, боже!“

Как будто рассказывать—то же:

— „О, боже!“

В трубе принялся выборматывать кто-то: про что-то. Вдруг—

— треснуло: пол оседает:—

— обстриженный папа, давно привлеченный рассказами, тяжко дубасит стопой, заложив за спиной две руки с разрезалкой и выдавив полный живот, оседает большой головою, зашлепнутой в спину;

рассеянно встал перед зеркалом, точно не видя себя; увидавши себя пред собой, он впился очень зверски подстригом бородки, поставив два пальца себе под очки; и—не мог оторваться, не мог оторваться: от маминых громких речей („Петербург, Петербург!"), иль от дикого, скифского лика с обстриженной зверски бородкою;—

— мама опять растворяется словом, как рядом картонок своих, из которых она вынимает пернатые шляпы; тут папа не выдержит: очень спешащие глазки забегали мушками; пальцы—дергунчики; жила на шее набухла:

— „Оставь"—поднимает на мамочку мелкие глазки—две точечки, два острия карандашика (эти спешащие глазки меня беспокоят!)—„Оставь: Петербург, это—немцы".

Но мамочка, стиснувши губки, закинувши ногу на ногу, шелкну́ла ошептами юбки; и—прыгает очень значительно ножка носочком; и, как карандашики, папа слова очиняет и эдак и так, в острие своей мысли: дезинфицирует мнения:

— „Это все, Лизанька,—дрянь: мишура, немчура; это нам ни к чему, это нам не к лицу!"

Потянуло опять его к зеркалу (вот он какой после стрижки! Он стал—совершеннейшим скифом): и гладит лицо полнотелой рукой, повернувшись, стараясь увидеть свой профиль; и—снова отшаркал от зеркала в гущу вопросов:

— „Какая же это там жизнь? Поликсены Борисовны этой? Певцы, лоботрясы, гусары... И в эдаком обществе ты, мой Лизок,—не скучала?!? Не понимаю я это!"

Какой-то слепéнь: и не видит—у мамы лицо прохудело от скуки, и—кинулось прямо в глаза: перешло вдруг в глаза; и два глаза расширились и раскидались, и (ай!) обожгли препридирчиво все, что лежало пред ними; а папа уже собирается выставить армию доводов; перевернется на стуле; руками по воздуху рубит котлеты:

— „Москва, так сказать, есть естественный, русский наш центр,—всякой умственной, нравственной, литературной, общественной жизни..."—

—пройдет перевальцем на мощных, недлинных ногах; тупоносо стоит сапогом на паркете—„Москва есть коммерческий центр: она—узел железных дорог, выразитель провинции..."—

—Папа сильней ударяет словами...

А мама, закинувши ножку на ножку, запрыгала красным носочком язвительно:

— „Да, в Петербурге проспекты; по Невскому катит в коляске царица: поклоны—направо, поклоны—налево, а Яблочково освещение—блещет!.."

И быстро, быстрее—до бега на цыпочках мечется пó полу папочка кряжистым спинником; вдруг он подшаркнет совсем саркастически (даже подпрыгнет, подшаркнув: и—взмах разрезалкою!)

— „Фу-ты. Принцесса Дагмара,—прошу извинения—э, что там „катается“: ах—немчура, немчура!“

А уж мамины глазки становятся явно алмазными глазками; плачет: о ней не заботятся; жить ей в московской среде—невозможно никак: как профессор, — дурак, как профессорша,— злюка-гадюка; и—глазками папу минует; и—обращается к ложке, пред нею лежащей: и схватит ее, и отбросит; а розовый ротик—сплошной колокольчик—

— эге: да он дудочка!—

— вот и пойдет, и пойдет: что уедет от папы, что папа—урод, каких мало, а мама красавица; смотрит больными глазами на нас:

— „Не расстройство чувствительных нервов—нет, нет: я—здорова...“

— „Я—вас!..“

— „Убирайтесь вы все!“

И—обводит нас всех с таким видом, что что ни скажи—ерунда: и она—всем покажет; зимующий рак, вероятно, ползет показать нам, где раки зимуют; и—выставит родинку:—

— папа скрипит в кабинете половицей: дрожит пятипалой рукою над мухою, уцелевшей от лета; и—„цап“; ее ловит:—

—и муха сидит в кулаке; оторвется ее голова; то не муха, а—мама; не мама, а—мамины нервы...;

вдруг—дернется: быстро забегает, крепко прижавши к крахмалу сорочки кулак и оскаливши рот белым блеском зубов; а другою рукой на крутых поворотах—

—раз,
—раз,
—раз,
—раз,
—раз!—

—очень быстро ударит по воздуху; раз я его подсмотрел: он всклокочился; точно два глаза—огромных, багровых—ширели закатом сплошным кабинетные окна, багря косяки, рукомойник и стол: во всем красном—расхаживал папа,—о, нет, не расхаживал—

—бегал на цыпочках, крепко прижавши к крахмалу сорочки всю челюсть, раз'ятую ртом с белым блеском зубов; будто он раскричался без голоса—

—руку одну прижимая к дышавшему боку; другою, зажатой в кулак, на крутых поворотах—

— раз,—
—раз,—
—раз,—
—раз,—
—раз,—

—бил по воздуху, точно про-делывал он упражнения Мюллера;—

— беганье

папочки, этот раскрытый, кричащий на сумерки рот, подбородком прижатый к крахмалу щелкавшей сорочки; и—

—раз,—
—раз,—
—раз,—
—раз,—

—мне запомнились: выбежал я!..

. . . . .

Покричав и побегав с собою самим—у себя самого,—выходил он мириться: совсем успокоенный, даже какой-то размякший (таким его видывал я приходящим из бани); усевшися в кресло, снимал облегченно очки: протирать очень весело; узкие плечи, покато упавши под очень большой головой, приносили повинную: голову эту сажали с усилием два человека, сперва надорвавшись; сидела она как-то так,—на боку...

. . . . .

Мама тоже легко отходила; поплачет, и—рядится: на вечер; плавною павой под зеркалом ходит; турнюр придает ей немного комический вид; и—ровняется: трэном, шумеющим шелковым кружевом; талия—рюмочкой; вверх поднимают достойные пышности очаровательным вырезом, пахнущим опопонаксом Пино, и слепительным от бриллианта, упавшего посередине, меж двух тельных складочек, с бархотки; точно Венера, горит на рассвете—пред солнцем, которое спрятано: ниже в корсаже; поклонники мамины, верно, гадают:

— „Взойдет?"

— „Не взойдет!"

И—стараются взором (как бы невзначай) проникать за черту горизонта: и—нет, не взойдет! Позаботилась мама: качается сколотый вырез росистою, розовой розой, когда она ходит, натягивая перчатку до локтя и сметывая с перекрученной башней прически на пестрый ковер свою малую шпильку; оступится в трэне; схватив его ловкой рукою с подкинутой ножки, оплещет нас розовым шопотом шелка подкладки—

—какая подкладка у этого платья! Я в маминых платьях подкладки любил: ей бы вывернуть платья: лицом наизнанку; изнанки, бывало, кричат: канареечным, розовым, красным,—

—такая большая: стоит—церемонно; ни-ни—подойти: ни-ни-ни! А вернется бывало, и вот: расстегнется; корсаж упадет на Дуняшу, а юбки—одна за другой—упадут на ковер; и оттуда повыскочит мама ко мне,—голоручка, худышка, в одних панталончиках, пышность оставив,—со мной егозить; это—после; теперь—ни-ни-ни; церемонно стоит, церемонно проходит;—

—в окошке, где было главасто от туч, где стояли одни многолобые горы в черте горизонта,—безлобые плоскости; и—из-за них, приседая и нас освещая коротким отходным лучом, опрозраченным ясно, под ним нисходя,—померцающий шар, красный шар, при-

седающий в землю: отсиживать ночь;—

— померцающий шар уложили в особый футляр с лакированной крышкой, обитой атласом внутри, как кольцо дорогое,— от Фаберже или Дейбеля,—

— грузно и бременно!..

Временно время; но—бременно время; бормочет—отданными днями; и—раздается: нам в уши, нам в души!..

. . . . .

Передняя—

— комнатка—

— малая:—

— желто-оранжевой злобой глядели обои оттуда в мигающий свет керосиновой лампочки; вешалка, столик и стул: все—оранжево здесь; на оранжевом фоне кирпичною линией четко проходят: квадраты, квадраты; висит многогорбая вешалка; немо; три двери: в столовую, в кухню, в немой коридор; повисает, пылясь, занавеска на кухонной двери такого зеленого цвета, что больно глядеть, закрывая дверное стекло, чтоб не видели кухню; и сальный матрацик для Альмы, туда зарывающей кости и жир в расцарапанный лапами волос;—

— бывало: —

— в енотовой шубе и в котиковом колпаке залезал, громыхая в свой ботик, склоненный над Альмочко

папа: на желто-оранжевом фоне обой, освещенных очками мигавшего пламени; Альмочка грызла жесткую желтую кость; и—кроваво косилась: а папа, наставив очки, говорил:

— „Это—правильное собачье занятие: чтенье газет!"

— „Эти кости, Дуняша, в собачьем быту—то же самое, что в человечьем газетное чтение".

— „Альмочка кость погрызет, и—все знает".

За папой спешила и мама, в ротонде и в маленькой плюшевой шапочке, с током (с огромным!); косясь на нее, он указывал пальцем, большим—на матрацик:

— „А Альмочка, знаешь,—читает газеты!"

У мамы при этом известии прыгала родинка под вуалеткою (белою, с черными мушками); глазки, туманяся, крылись ледками: она самодушием жала к полнеющей шее круглеющий свой подбородочек, важно надувшись; казалося: сделает:

— „Уф!"

Задевают ее, огорчают ее эти шуточки папы; рукой опираясь на спину Дуняши, натягивавшей на нее меховой, мягкий ботик, как ножницами, расстригала молчание:

— „Пахнет опять!"

— „Пахнет псиной!"

— „Вонища!"

— „Я вам говорила, Дуняша, что надо матрацик проветрить: на снег его, снегом!"

И—дверь растворялась; и папа туда, в темноту, убегал, опустив нос в меха; убегала и мама за ним, опустив нос в меха; в двери веяло холодом: ворохом вывших времен; многоногие людогоны неслись по Арбату:—

— несутся событий негромкие громы в огромные мороки мертвого мрака: хромает часами усталое время; оно—хромоногое!

МАМОЧКА

Знаю: мамочка наша больна!

Это часто у ней за спиной выговаривал папа. Я знаю, что ей занеможилось плачем, когда она села из Питера в спальный вагон, чтобы плакать о питерской жизни; изнемогала в професорском *круге она;*—

— появилось больными глазами лицо ее в сумерках:—

— все, то немотствует, голову свесив на грудь, перебросивши косы на грудь, и—болеет размыслием; вдруг—

— *приподнимется:* —

— примется: перетирать безделушечки полотняною тряпкою; тут же, с бесцельным терением распространяется ропотом, возгласом, взвизгом, рассерженным носиком стоя пред папиной дверью: в ночной рубашонке—пред сном; и придирчиво смотрит не в дверь, а в... потопное прошлое,—

—в детство! —

— Откуда уселась хозяйкою дома она среди стен Косяковского дома: я помню:—

— четвертый Зачатьевский переулок; отсюда привез ее папа в парадной карете, во фраке, с букетом цветов—

— и Максим Ковалевский, во фраке, с таким же букетом сидел против мамочки; мамочка, вспомнив про это, всегда заболеет глазами: поводит больными глазами: молчит бриллиантовым взглядом (от слез):

— „Я—вас: всех!.. Убирайтесь: пошли, пошли все...“

— „От меня... Ах, оставьте!“

— „Оставьте...“

— „Меня!“—

— Я не верю:—

— (ах, звездочка, белая блеском на кубовом небе белесыми полднями—

— вся обезблещена!) —

— Полдни наполнены ужасом ветхой, профессорской жизни и —

— бороданником старых научных жрецов; —

— оттого-то:—

— расширились глазки ее—колесом: побежали, бежали, бегут... да и выкатилися из глазок; алма-

зики перекатились в платочек:—

— платочек сырой остается на кресле;—

— ну что же: поплакала?

Все у нас плачут!

. . . . . .

На пальчик уселось кольцо с бирюзою; вернулась из Питера; и—появились зеленые пятна на камне кольца—

— очень плохо!—

— все знают,—

— как только испортится бирюзовая бирюза бирюзою зеленой, теряется в доме семейное счастье.

И вот:—

— уже прáзелень: счастья хватились; карманы обысканы, полки в шкафах перерыты, а счастия нет: где оно?—

— Знаю: не было!—

— Шафер Максим Ковалевский в карете его утерял!..—

— Так пошли болтушúнники: мама болеет болезнью чувствительных нервов; воссевши, молчит; опустила головку на грудь, перекинула косы на грудь;—

— папа около ходит и около охает!—

. . . . . .

Да, между папой и мамочкой—есть: что-то есть; пререкания тут быть не может, что есть пререкания,

есть: очень крупные; некого только спросить:—

— ну, кого бы спросить?—

— Отвечают лишь воющим высвистом в стекла порывы за стеклами—там, затянув кисеею прозоры: за стеклами; да отвечает лишь лютое время морозом; и виснет трескучее солнце жестокого цвета; и все белоперые стекла застыли; со всех подоконников скоро закапает...

. . . . . .

Ах!

Я—один: я один; я внимаю пришествию маленьких звуков; от двух до пяти тулумбукает кто-то у Помпула; рубят котлеты на кухне; Дуняша ругается; ранее: мама звонится словами, как связкой ключей, все о рюшах, горжетках, жабо; к двум уж скрылась; три: громкий звонок; тулумбасит калошами папа в передней—подмахивать листики; знаю,—под каждым появится подпись: „Декан М. Летаев"; зевает и жмурится; свет ест глаза; бриллиантит окно ледопёра зимой:—

— тарарыкнет оно светоперой весною!—

— и высвистом, вы́снегом свищутся в стекла набеги метели; за стеклами белое клокотание; белый бежит—перегромом, бежит передрогом по крышам—от нас к Реттере́, над Гринбля́том,—

— над Бланком—

— куда-то—

— откуда-то! —

— Папа, изогнутый, трахнет крахмалом, чихая, и—выставит подпись: „Декан М. Летаев". Уже морготня зажигаемых ламп; что-то водится: сорное, вздорное; тихо просели углы: в непрозорное, в черное; в ворохи, в шорохи—

— мамочка плачет беззвучно!—

— о чем?—

— Папа встанет, качнется с натуги, посмотрит; и что-то захочет сказать: не сумеет—мымыкает, грустный быкан; поморгает на мамочку суриком переполненных глазок (от крови); махнувши рукою, уйдет в кабинетик: сидеть в ка-бинетике.

. . . . . .

Время обеда — тяжелое:—

— мама боками атласит к столу; недовольно схвативши салфетку, бросает салфетку; глазами в кольцо с бирюзою—

— оно зеленеет: оно—зеленей, чем вчера!—

— бирюзы не осталось: одна неприятная зелень бросается маме в глаза;—

— и —

— обед хрусталеет графином, стаканами, звонкой грустиной и матовой дутостью—

— мамы,—

— которая, что ни увидит и что ни услышит,—на все пятит губку, опухшую в ссору...

И—папа теряется: как ему сесть да на что посмотреть...—

— Начинает словесничать: эдак вот, эдак:—

— „Оставьте: молчите... Ну что вы пристали?.. Ну что вы такое сказали? Опять—этот вздор... Та же все ерунда!..“

— „Вы находите?.. Ах!“

— „Очень глупо!“—

— и выставив детскую родинку, мамочка потчует всех; нет, не взглядом, а ядом: все то, что ей скажут, ей лучше известно; и все виноваты: кругом виноваты;—

— и брови взлетели на маленький лобик; и строят без слова такие зацепы из мнений, что—

— суп застревает в дыхательном горлышке: кашляю; папа совсем растерялся; со страху он выскочил с громким вопросом.

Всего мне страшней, что ко мне повернутся с вопросами: станут во мне за столом развивать любознательность к точному знанию; знаю, что мама на это нахмурится; и—поглядит исподлобья; и я—поникаю; и я—поперхнулся ответом; на папин вопрос—ни гу-гу: промолчу:—

— потому что

наверное,—

— папа уйдет, а когда я останусь с мамой один на один, то—

— пребольно ухватится за руку, дернет к себе; и схвативши густую гребенку, вонзит ее.

— „Ой, ой, ой!“

— „Что такое? Ой, ой? Представляешься ты с „о й-о й-о й“: замолчи!“

И расчешет гребенкою волосы: лучше бы выдрала их, чем так мучить ребенка гребенкой: расплачусь; и тут получу: бирюзою по носику.

— „Ну?“

— „Пошел прочь!..“

Бледноглазо ласкает, не грея меня, пустоцветное небо; закат розовеет с хрустальной сосульки; и розовый дым пробежит кисеею по розовой крыше.

. . . . .

— А то она пальчиком тихо грозит, показавши кольцо с бирюзою:

— „Послушай-ка, Кот...“

— „Заруби у себя на носу: ты мне будешь чужой!“

И полнеющий вдруг подбородок прижмет она к шее; сидит—худовзорится.

Время темнеет; и вот: фиолетовой флейтою льется триоль; и вишнеет клочочек ушедшего света: чернеет на небе; змея, полосатое время,— ползет; и беззубо оскалилась старость в чернотных пустотах губимого мира; уже чернорукая

тьма протянула огромный свой перст сквозь стекло; безголово, безного столбом к потолку поднялся Чернорук, уронивши свои пятипалые руки на шейку; и—сжал мое горлышко: темными страхами.

Я сожимаюсь: припрятать развитие (я—развиваюсь, увы!); недогадливый папа, ко мне обратясь за обедом с мудреным вопросом, желает скорей обнаружить развитие, чтоб подарить котелок, подарить сюртучок и футляр для очков, и брелок для часов; отвечаю нарочною глупостью; папины карие глазки забегают, очень печально завертятся, и—опускаются прямо в тарелку горячего супа (он дует на ложку); а я посмотрю исподлобья на мамочку:—

— мамочкин взгляд изменился, когда заболела она: стал какой-то животный...—

— и мама бросает животный свой взгляд, нападая на нас: и—понять невозможно: глядишь маме в глазки; за глазки; останутся мамины глазки, на глазки мои не ответят; не принятый маминым взглядом, мой взгляд побежит, как мышонок, от маминых глазок; и вижу, что папочка мой из тарелки моргает, внимательно глядя, как я заморгал; его глазки, мышата, метнутся на мамочку; глазки у мамы, что родинка: смотрят—не видят!

. . . . . .

Мы с папою редко вдвоем; разобщились молчанием; помнится мне невозвратное время, недавнее время, когда еще мама здорова была; так свободно пошу-

чивал папа, вникая во все, что случилось со мной; и лечил от расстройства животика: — —

— помню: — однажды схватило животик; я плакал, а папа — крутой, головастый, приземистый, вдруг набежал из-за двери со склянкой касторки, тряся бородой с напускною свирепостью; забултыхало буфет; растяжелой стопой он ударил в паркет, заплясавши вокруг моих криков таким прыгунком и столовою, ложкой махая под носиком, топал словами свой громкий стишок, сочиненный по тому поводу чтоб позабавить меня:

Экий дурачишко, Котик!
Ты не слушаешься няни:
День и ночь пихаешь в ротик
Всякой мерзости и дряни...

В наказанье вместо порки
Я принес тебе касторки...
Раскрывай-ка, братец, ротик
Мы прочистим твой животик...—

— И все рассмеялись; и тут же в столовую ложку наливши касторки, он вылил касторку в раскрытый мой ротик; шутливо подшаркнул и громко подпрыгнул под это событие;—

— скоро меня потащили в отдельную комнату: чистить животик.

. . . . . .

Мне помнится, да, невозвратное время, когда не боялся ласкаться я к папе; теперь не ласкаюсь

к нему; я—догадливей: понял, что папе скандалы вредны; затаился от папы, любя его крепко; и было мне горько, и плакал я в зорьки; но слезы свои утаил: потеряли друг друга (утратил я друга!); и эта потеря в годах затерялась, когда потерял я способность: быть искренним с папочкой; все же я думал тогда: это есть добродетель моя; этот крест я понес по годам, как невидную помощь для папы и мамы; когда собирались они за столом, то могли друг на друга взорваться: словами и взглядами.

Странно!

Бывало хожу средь теней; и воздушно повиснет косматость теней; заведутся везде бороданники; я пробираюсь меж них, но сквозь них натыкаюсь на ужас, а ужас—хохочет: обнять меня хочет...—

— Я мог провалиться сквозь пол, где живет зубной врач, поднимая зловоние снизу искусственной варкой зубов; он мой зуб оторвет и торжественно вставит чужой и зловонный...—

— Подолгу я думал о варке зубов и подолгу я слушал тяжелые стоны (там—дергались зубы); и мысли о гибели, бездне и варке зубов поднимались во время обеда, когда убегала душа в задрожавшую пятку от страха, что папа, схвативши тарелку, отгрохает в свой кабинетик, замкнувшись на ключ, и не выйдет: там канет навеки; собрав чемоданы, меж тем в Петербург убежит наша мамочка; а Генриэтту

Мартыновну выкрадет „Цеттт“; я—останусь один; в одинокой квартире; и вот позвонят:—

— и придет, отворивши из сумерок дверь—господин в сюртуке, в очень черном: с намереньем очень позорным; останемся с ним мы один на один; промычит на меня он бычачьею мордою: он—

— Черномордик!

. . . . . .

Однажды я видел томительный сон, что—свершилось: что папа и мама потеряны, что унесен я в квартиру, такую ж, как наша; но знаю—не наша; какая-то дама (не мама) меня утешает (не так утешает!), меня уверяет, что мама она; вдруг проходит по комнатам папа; к нему я кидаюсь, ловлю за сюртук; повернулся он: вижу—лицо то не папино!..

Странное что-то творится у нас; запирается папа от мамы; и там производит ужасные вещи, которых не знает никто; там становится он—клокотун: ярко-красный; дрожит пятипалой рукою над мухою он, уцелевшей от лета; и—„цап“: ее ловит; и муха сидит у него в кулаке;—

—оторвется ее голова – дергунцами, дрожащими пальцами; папа над мухой сидит– ярко-красный, ужасный; я знаю, что это не муха, а—мама...

И странно, и страшно теперь в выдуваемых бурею комнатах; все-то мне кажется: что-то

взвывает; вдруг: все освещается свечкою: видится мама за свечкою; хлопает, шлепает туфлями; шамкает туфлями прямо в переднюю: верно, подслушивать, что говорит про нее Афросинья (на кухне); вдруг звук: то забила, забегала палочка хвостика из уголочка: то Альмочка по полу хлопает хвостиком;—

—нет—

—не подслушала: в кухне—молчание; Альмочка выдала маму...—

— И мама на Альму затопала: палочка снова захлопала; все освещается сызнова—только в обратном порядке; проходят со свечкою: мама за свечкою... Шлепает, шаркает, топает, шамкает...

Что-то взвывает:—

— прошедшею полночью было, я знаю наверное,—

— шествие злых черничей от угла до угла: по ковру, мимо стульев; я—видел; сказать,—не расскажешь; они, черничи, проходили всегда: проходили года (от угла до угла)—по ковру, мимо стульев; луна нападала на них световыми мечами; и толпы немых черничей упадали, как замертво, на пол; луна уплывала за тучу; они ж,—

— черничи,—

— повосставши, валили ватагой из черной норы угловой: по ковру мимо стульев; и—не было им ни конца, ни названья!

МИХАЙЛЫ

Ноябрь, снегодар, выгоняющий саночки, дни осаждает обвейными хлопьями; папа свисает в передней огромной оторванной шубой (ее подшивали уже много раз, она рвется: наверное, он на ходу задевает о желоб)—

— свисает в передней енотовой шубою, громко покашливая и отрясая снега; он стоит в превысоком своем колпаке из мягчайшего котика, с желтым, рогожным кульком и с портфелем; в портфеле—дела факультета, в кульке—златоглавые вина: двенадцать бутылок—мадеры, портвейны и хересы; это—кануны Михайлова дня; прибегут поздравители завтра: Михайлы—останутся дома.

У нас—полотеры: отставили мебель, кровати, столы; и—сложили ковры; один ползал по комнатам, став на колени; рукою, сжимающей воск, процарапывал, хмуро потея, белесоватые, вощаные зигзаги, показывал грязную пятку, которую Альмочка, выставив морду, старалась куснуть и привзвизгнуть, *как будто бы пяткою пнул полотер ее.*

С белой плетеной корзиной пришла Афросинья; у ней—пестроперая дичь: безголовая птица; я вижу—кровавое горло и желтую лапу; и знаю, что завтра к обеду все это иначе подастся на стол.

Мама строго уткнулася носиком в пестроперого рябчика: нюхает:

— „Нет".
— „Нет,—нет—нет!"
— „Не возьму: ни за что".
О, скорее бы завтра.

. . . . . .

И вот оно „завтра".

О, сколько же розовых, рдяных носов рдеет в рдяный мороз. Сколько розовых рдяных стрекоз приседает: поблескивать холодом; и за окном рассыпают песок, чтоб не падали; нет, не ноябрь, а—декабрь: и рождественским снегом, и блещенским холодом будут выскрипывать ноги на улице; будут вынюхивать дымы; лопаты ударно захаркали жестким железом о мерзлые льды.

И звонок, очень звонкий: приносят картонку; от нетерпения сердце мое—ходуном; а у мамы глаза—колесом; мамин ротик цветком раскрывается: там язычок—червячок; и она—облизнется, как кошечка, от удовольствия: торт Толстопятов прислал; и картонку несут прямо к папе; прелюбопытно уставился он из халата на торт, поправляя набрюшные кисти:

— „Скажите, пожалуйста..."

Мама наклонится, вытянет губки:

— „Ну вот: поздравляю..."

И глазки—две ласки: проглядные, как абажурики: снимешь их—два огонька; и прилобился наш именинник к протянутым губкам; я знаю: от глазок теперь подожгутся; у всех огоньковые глазки зажгутся; да, да,—сколько раз именинничал папа;

и—будет еще именинничать он: а уж там поглядишь, и—ударная старость стоит с своим даром: с неблагодарным ударом.

И папочка стар: пятьдесят уже лет.

Он сидит за столом, отдыхая пред трудной обязанностью: угощать посетителей, предлагая то сига, то сыру, то масла, то хересу,—перед куском шоколадного цвета стены, опираясь большой головой в косяки своих полок кофейного цвета; сидит без очков в бледносером халате; сидит—в большой нежности—так, ни с того ни с сего, пред собою поставивши кремовый торт Толстопятова, весь припадая опущенным плечиком к стулу,—такой большелобый, с упавшею прядью; его голова, чуть склоненная на-бок, доверчиво нам удивлялась совсем голубыми глазами (не карими):

— „Вот ведь скандал!"

— „Именинник".

— „Скажите, пожалуйста".

Он улыбался тишайше себе и всему, что ни есть; и казался китайским подвижником, обретающим „Середину и Постоянство" Конфуция; эдакой ясности—нет, я не видывал.

А между тем приходили к нему, то Дуняша, то мама:

— „Пришли поздравлять педеля".

— „Пришел дворник Антон..."

— „Ночной сторож..."

— „Водопроводчик..."

Помаргивал папа беспомощно в нас виноватыми глазками; и выгрохатывал шуточки:

— „Педель не пудель".

— „Антон-с?. Без антоновки?"

И, доставая бумажник, выкладывал деньги.

Перевалило уже за одиннадцать утро: заглазалась в окна ворона:

„Шу, шу".

Пролетела.

В столовой теперь расставлялись столы; и вкладные, огромные доски теперь закрывались снежайшею скатертью; горы фарфоровых звонких тарелок блистали протерто; бренчали о вилки ножи, полагаемые Дуняшею; выставив глупую морду, коптился на блюде промасленный сиг, золотисто-коричневый; и появлялись сыры и колбасы, и рюмки, и стая бутылок; и гнутые полукруги сидений обставили стол; чистота и порядок—во всем.

Это мамочка распоряжалась, нарядная, в клетчатой юбке, виляя огромным турнюром, шурша казакином, прекрасным и розовым, с острой, как башня, прической, проколотой золотым гребешечком; и с глазками, укусившими больно шершавую руку Дуняши:

— „Нет, нет".

— „Не сюда".

С зажигавшимся розовым личиком маленькой куколки: горло заколото брошью, которая—круглая; в ней—белоперая дама сидит с волосами совсем рыже-красными: это какая-то там фаворитка: м а д а м; вижу: мамины глазки, туманные глазки, теперь обострились, как пьявкины глазки;

зелененькие огонечки забегали по серьге с бриллиантом:

— „Опять напустили вы чаду из кухни".

И—красненькие огонечки забегали по серьге с бриллиантом.

Звонок—очень звонкий:

— „Мамаша".

То бабушка: в светлом, коричневом плисовом платье с парадными лентами плисовой свежей наколки, с лиловеньким поминаньем в руках; и она без турнюра; за нею бледнеет безлобая тетечка худенькой палочкой; следом за ней—остолбенело войти не решается, весь озлащенный веснушками, переправляя, представьте же, белый свой галстух, сам дядя Вася. И мама ему:

— „Это верх неприличия! При сюртуке белый галстух".

И вот понесло пирогами из кухни: с капустою, с рисом—с рыбой, с вязигой, с морковью и с мясом.

О, сколько же розовых, рдяных носов будет рдеть, забегая в переднюю, шаркать ногами, покрякивать, громко сморкаться и спихивать шубы в Дуняшины руки, внося за собой из мороза щекочущий запах горелого; будет отряхивать блещенский снег с обсосуленных усиков, чтобы, украсившись всякой игрой, миловидно влетать, спотыкаясь о блюдо вносимой большой кулебяки; звонок: быконогий профессор, седой бородавочник, тут белоброво пройдет с поздравлением, сядет, засунет кусок кулебяки в зашлепавший рот; и

забрызжет слюнными словами; звонок: Малиновская станет ободранным остовом, с белым, бескровным лицом—переплющенным плющиком; едко напомнит: понюхает воздух своим фиолетовым носиком; воздух испортит зловонным вопросиком; с ней проплывет многородная дама с большим животом; Малиновская спросит:

— „Который?"

— „Двенадцатый".

Самославный нахал, сочноротый присяжный поверенный, крякнув крахмалом, покажет себя, както вишнево взором уставится в херес, прозубит двусмысленный свой каламбурчик и, клюнув из рюмки, баранно изблеется; перекрахмаленный же щелкач—тут как тут: щелк да щелк—толк толочь. Кто-то, странно запачканный, хмурый, как иодный раствор, позабудет уйти; и останется с нами обедать; трескочный негодник поднимется с места и, сделавши общий поклон, на который ему не ответят, пройдет в полусумрак передней, несолоно с'евши; перегрохочет у нас за столом в своем полном составе, как кажется, весь факультет; попечитель учебного округа сам занесет свою карточку, но не войдет; будет щуриться, ласково кланяясь, добрый такой и стыдливый профессор Жуковский: мужчина мужчиной, а голосом плачет, как женщина; неизменяемо выйдет из двери, столкнувшись с уже уходящим Жуковским, принесший с создания мира свою седину, очень маленький, мило моргнувший Анучин; казался мне малой

рыбешкой, но очень костистой (проглотишь—подавишься: сядет у нас прозирать настроение общества: ухо держите востро. Верно, „Русские Ведомости" получили известие):—

— я недавно еще его встретил на улице: встретивши, вспомнил, что тридцать пять лет его знал совершенно таким же: всегда очень стареньким, седеньким; верно, с пеленок он ходит с седою бородкой, с вихрами белейших волос, привскочивших над маленьким, очень морщистым лобиком, с красным, свисающим носом, который хватает он пальцами;—

— вломится тучный, всегда запыхавшийся словом, Сергей Алексеевич Усов, чеботарея тремя-четырьмя бородавками, точно вкуснейшею ягодкой: да, земляничка на нем вырастает; его фунтовое, тяжелое слово прихлопнет совсем щелкача; тот, прихлопнутый, фукнет, как пыльник; и облачком фука, зеленого фука,—осядет на скатерть:—

— не то Веселовский—

— иной, волоокий, надутый таким невесовым превыспренним воздухом: все выдувает легчайшее, витиеватое слово, которое носится сдунутым пухом (коль в нос попадет, так чихнешь,—не поймешь); и не то говорит Алексей Веселовский нам спич, а не то преднадменно сдувает цветки одуванчика; пухом несется, не зная куда и зачем, на словах, обрамленный власами:—

— Сергей Алексеевич Усов, куря, осыпается пеплом, насмешливо слушает; вдруг засипит, да и выпустит дымным кольцом бедокурное слово:—

— летит бедокур в перекур:—

— да,

я знаю, что все они будут.

. . . . . .

Ну вот, начинается: слышу звонки; я сажусь—наблюдать (под окошечко; там за окошком: ворона стучит черноносо в окошко из белого снежного пуха; пошли облака; и пушисто летит среброперый снежок): а в столовую быстро влетает студент-первокурсник, носатенький, с черной бородкой, при шпаге; и папа выходит навстречу ему; он стремительно подлетает, восторженно дергает папину руку; и щелкнувши ножкой, от силы щелчка отлетает чрез комнату в угол с оторванной бедной рукою (о, сколькие руки оторваны им); он отсюда проходит к столу: опустить над тарелкою нос: это—Батюшков, внучек поэта; его теософия ждет впереди; и приходят еще два студента: один—Алексей Николаевич Северцев, тощий, высокий, старообразно изогнутый; Паша же Усов, студент богатырского вида, пройдет, мимоходом, подкинувши в воздух ладонь:—

— и летит среброперый пушистый снежок за окошком, пушисто ложится; ворона нахохлилась; шариком

стала: давно цепенеет она; я смотрю и туда и сюда: за окошко и в дверь; подают кулебяки; снежайшие старцы проходят почтенно; строжайшие старцы глядят вдохновенно: в пространстве столовом бубухают словом: сутулится папа с ненужною помощью; широконосо, порой указуя на стол:

— „Дичий сыр".

— „Предлагаю вниманию".

И миловзорится мамочка:

— „С мясом".

И все сребroперый снежок пролетает безвесным сметаемым пухом; вороны прижались друг к другу на крыше: баранно проблеяли смехом: да, да,— Малиновская вкусом—сухая тарань, а костями— колючая корюшка; для чего она делает вид, что она либеральная телка. И руку отставит, и ногу отставит, и просто молочные реки текут;—

— и баранно проблеяли смехом; стоит: га-га-га,—ба-ба-ба—„Абакра... Обокрали... Баллотируют"—пересекаются фразы:—„Но нет-с,—поспешите подать резолюцию... вы в факультетском порядке..." „Дуняша, вы что?"—Шубы, барыня, негде уж вешать... „Повесьте на стенке диплом, сударь мой..." Абакра... Ба-ба-ба—га-га-га.—

— Затрясется буфет: это папа, сияя глазами, проходит с бутылкой рябиновки и наклоняется в быстрой услуге:

— „Рябиновки".—

— „Э, да, он мыльник: надутый

словами, летал пузырями; он—лопнул-с. Я вам говорю, что он лопнул",—сипит перекуром Сергей Алексеевич Усов—

— но тут появляется сам Алексей Николаевич Веселовский, надменно надутый; и все—замолкают:—

— „Ппсс".

— „Ппсс".—

— Засвитал пульверизатор сосновой струею: то мамочка хочет очистить закуренный воздух:—

— „Мы с Мимочкой, Фимочкой, Фифочкой, Фофочкой, Мисиком, Тосиком едем на праздники к брату в деревню...—

— Га-га-ба-ба-ба",—

— Папа выскочил быстро, карманом своей разлетайки опять зацепился за ручку, карман оборвал:

— „Обратите вниманье: икра!"—

— наклонился над Гротом, который, войдя, пересек криворотую злобу профессорш, уже черноброво уселся в прекрасной (не слишком ли) позе, естественной (слишком естественной), черные кудри с бородкой склонивши на руку; и делает очень красивые жесты другою рукой:

— „Передайте балык".

Но сутулясь и так доброносо уставясь очками, мой папа стоит за спиной, улучая минуту рукой указать:

— „Дичий сыр очень вкусен...“
И Грот:
— „Благодарствуйте“.—
— Он обращается к многососальнице кислых лимонов; а папа, очкастый, главастый, но прыткий и кидкий, оставивши Грота, разводит везде юмористику точек, ведет параллельные линии карими глазками; и—перекидывает параллели: от сыра к колбасам; сегодня ему философствовать некогда; и—философствует Грот перед важной двугубою дурой, профессоршей Кисленко; да, говорят—в ней грудастые страсти, а держится стянутым пыжиком; губки подтянуты малой горошиной, точно свистеть собирается: если распустит, они будут ломти; ей мамочка робко укажет на кисть винограда; она—отвернется, как будто не слышит; и мама, обидясь, предложит опять: ей ответит двугубая дура сугубою грубостью; ей повернет свой турнюр; и подтянутым пыжиком слушает очень красивого Грота; и карандашиком делает очень покорно отметки она в своей маленькой книжечке; слушает Грота почтенный фразер, весь надутый двумя юбилеями; сжатый своей приготовленной фразой, как крепким корсетом, сидит дожидаясь удобного случая,—вскинет пенснэ; и—рисуется белою плешью; и—вот: случай стукнул; и—поднимает бокал, поднимается сам, и, возвысясь над спинкою стула,—он дует устами—
— и
пучный пузырь образуется; жилы нальются; и от

усилий своих рассыпает песочек; и правой рукой поднимает он выше и выше шампанское; левой, едва помавающей,—

— около уст принимается он это все развивать: разовьет до того, что руки не хватает; тут—лопнет: и все с уважением смотрят в пустое и общее место; качается в воздухе палец, да взвешен в пространстве бокал,—

— а все прочее лопнуло: нет никого; только—стул, а под стулом песочная горсточка; горсточку вынесут; с папочкой чокнутся: это ему говорилось: он, он—дорогой именинник; привлек он фразера, который, ведь, каждый день—эдак (до юбилея, до третьего) дуется где-нибудь: наговорил библиотеку, а написал—две брошюры; напротив—сидит безобразник: зарос волосами до глаз он,—до маленьких щелок: до злейших, хитрейших: и—чешется: обезьяна какая-то. А говорят,—умник он—

— Виндалай Урванцов:—

— я боюся, что рявкнет; он рявкнет,—от ужаса руки трясутся у всех; рот расширится до... окончания мира; оттуда несет океаном каким-то; его называют трубой иерихонской; и где ни вострубит—день первый; и—хаосы; и—двадцать пять болтунов просто лопнут; тогда рот замкнет он; и—чешется; и—озирается: дикий и красный, сконфуженный; после него—минут пять тишина: вижу—движутся рты, а не слышу: оглох; Виндалай

Урванцов ударяет царь-пушкой; ударит—океанической ширью повеяло; он же, ударив, конфузится; робкий: никак все не может жениться;—все женится, женится, а от венца—убегает...

Темнеет в столовой, редеет: за окнами, там,—о, какое горение, преображение и—просияние; пресуществилось, восстав из нецветного дня—самоцветным, просветным: багровым, пунцовым, лиловым; и—кажется новым; и день—провоздушен, освечен; летит прямо в ночь;—

— но в столовой сплошной беспорядок; собрание ело и прело, сидело, галдело; казалось—наладилось; вновь начинались везде нелады; образовались, казалось, у нас за столом — Кузнецы и Медведи повсюду расставятся друг перед другом; попеременно кидаются кулаками и словом—на середину меж ними; посередине—молчит дядя Вася, напуганный криком; уже отодрали копченую кожу; под ней бледно-белый балык, показав свое мясо, об'елся: лишь рыбья копченая морда глядела совсем удивленно недвижимым глазом, затем перейдя в многокостье; от дичьего сыра остался желтеющий жир да бумага свинцовая, а от икры—обсыхающий ножик; никто не звонится; наполнил переднюю гомон; а стулья отставились все, образуя то двойки, то тройки, застывшие в споре; тут—скомкана скатерть, а там—залита.

И—всегда так: бывало они пустовзорились все в громословы свои; отхихикнет один, все—подфыркнут; и—смолкнут; и вдруг побегут перегромом

по комнатам; передвигаются стулья, прощаются; и—зазывают друг друга; закуски—из'едены; множество грязных тарелок несется на кухню; все то перемоется, будет запрятано снова в буфет; потечет все по-старому, будто и не было вовсе Михайлова дня никогда; но—

— он будет опять; это все—повторится; оно повторялось уже от Адама; и будет оно при восстании мертвых; да, мертвые, повосставши из снега, придут, громыхая калошами, в этот таинственный день к нам за стол:—

— о, горение, преображенье, за окнами; пресуществилось там все из нецветного дня,—самоцветным, просветным: багровым, пунцовым, лиловым; и—гаснет. Все—пусто: и наш дорогой именинник ушел отдыхать; отдыхает и мамочка; а из угла завелся чернодуб-бородан; это—тень; он—выходит тихонько; и бродит—легонько; царапает тихо обои... своим... тараканом...;—

— пройдут чернодумы, пройдут бороданы нешумною поступью; толпами встанут, за руки возьмутся; руками сольются; и—

— будет одна чернота:—

— ночь—присутствие—да: очень многих; и—нет: не отсутствие их...

. . . . . .

Уж за окнами холод синел—там на все выле-зающим дымом; слагалась градация всех умерканий

в голубоватые тусклости: от сине-серого и—к сине-синему; и от него—к сине-черному, к черно-лиловому даже; перемеркало все это—в чернила пролитые за окошком: густые, сплошные.—

— А наш именинник:—

— лежит на постели: на жесткой постели, заставленный шкафом, совсем без очков, обнаруживая морщинки у глаз, утаенные стеклами,—бледный, усталый, за день прохудевший и меркнущий в умерканиях дня: и бросают прохожие сумерки ряд своих мрачных вуалей на это лицо; в сине-сером оно еще белое, а в сине-синем оно—засерело; в сплошном сине-черном оно просинится едва от постели:

— „Да, папочка—старится...“

Он же привскочит с постели; и растирает глаза:

— „Ах-ах-ах-с“.

Копошится уже над очками; и—суетится, отыскивая карандашик и чиркая спичкою: разорвались черноходы ночей—в блеск свечей.

— „Что вы—эдак же вредно кипеть: целый день.“

— „Ничего-с, ничего-с“.

И ушел—в вычисления.

— „В клуб бы не шли“.

Наливная слеза задрожала из глазок: боюсь, что расплачусь: в пробежное время бежим неизбежно; я... с желтеньким кубиком, мама—со шляпной картонкой и папочка с новой брошюркою: „О радикале э-иксе“:—я боюсь: я расплачусь: ну, мне

еще можно бежать, маме можно, а папе—куда? Пятьдесят ему стукнуло: был именинником; и—перестал: побежал с именинного дня по дороге времен—

— и я вышел тихонько в гостиную: кресла стояли во мраке; и в креслах сидела: компания мраков,—и передразнивала тут сидевших гостей; и такие же мраки взирали в оконные стекла тяжелыми взорами; мраки стояли под легкими шторами; мраки стояли шпалерой:—

— немых кавалеров—

— надев свои фраки.

АГУРО-МАЗДАО

Стою у окна под ореховым крепким багетом: повешена слетная штора на медных колечках; а—подают самовар, посылающий в воздух развитие пара: под склянную лампу; я липну к окну, где твердеет Москва; и за нею леса, города и поля, по которым несутся с границы швейцарки и немки к нам, к детям, и по которым поедет француженка.

Вот носороги идут коридором (буфет задубасил стопами: подпрыгнули бюстики); то из дверей—голованится папа, уставясь в меня жестяными очками; стоит, совершая за дверью застежку своих панталон; вот уже бултыхнулся в проход, подмахнувши одною рукой, прижимая другою рукою

зеленую книжечку к боку: спешит он за стол, свирепея усами:

— „Ну, Котик, дружок мой!..“

— „Поучимся“.

Перед собою поставит: привяжется—шаркать; я шаркаю ножкой, тряхнув головою одною (я—в платьице: кудри мои, залетав, пощекочут под носиком):

— „Так-то вот!“

Так-то я!—

— А у Дадарченок мальчики шаркать не могут; один ослюнявится, свой кулачишко засунувши в ротик; другой еще ползает; Сонечка делает книксен; а мне она делать не хочет; мы просто целуемся:

— „Раз!“

И—готово: скорехонько...—

Папочка, громко отшаркав, сажает меня на колени; он—в форменном фраке (сорвется на лекцию); спешно споткнется мясистым лицом пред раскрытою книжкой, сутулый и скошенный на-бок: кусает он розанчик, бегает он языком в отдаленные страны, где солнце ярчеет, где ходит обвитый *тюрбаном оливково-бронзовый индус*, где перс в полосатом халате отчавкает персиком.

Солнышко, ясный фазан, распускает теперь светопер через зимние дымы; оно многознайками—зайками—к нам забежало из окон; и в нем—пустолеты.

— „Вот так-то, мой Котик!“

— „Россия, брат,—во!“—раскидает ладонями он, мне напомнивши жест Саваофа под куполом Храма Спасителя (нос Саваофа был взят Кошелевым с профессора Усова: нос—в три аршина!)...

— „Огромна!“

— „Она заключает“—подбросит он ножик и ловко подхватит его—„Туркестан, и Кавказ, и Сибирь, Бухару и Хиву, и Финляндию“—ловко подбросит он ножик...

— „Урал“—и поймает его...—„Повтори...“

Повторяю:

— „Сибирь, Бухару и Хиву...“

Бросит ножик:

— „В Сибири, брат, холод, а в Туркестане растут тростники: там сидят полосатые тигры и кушают сартов; у сартов халаты, пестрейшие, братец мой“.

Пахнет антоновкой, ходит словами:

— „У нас есть Камчатка; и даже Аляской владели мы; но... чорт возьми“—и лицо прорезает угрюмая складка, и смотрит пустыми глазами от ужаса:

— „Чорт возьми! Немцы, чинуши, ее проморгали: Аляску мы продали“—щелкнет он пальцем под носом и сделает кукиш из пальцев:—„за миллион, братец мой!“

Прокислеет лицом и покажет язык:

— „Насажали нам немцев министров: Ламздорфов и прочих; об этом стараются Бисмарк с Кальноки: у Бисмарка три волосинки... Аляску-то,—продали!“

Тут приумолкнет, как будто он слушает внутрь себя, глазки зажмурит и рот разожмет, приподнявши разноздренный нос: и—свирепо чихнув, достает торопливо платок из-под фалды; потом на словах,—да в припрыжку:

— „Но все-таки, гм: кое-что да осталось у нас".

И конфузится, очень довольный богатством России:

— „Вот так-то вот, Котик".

Вот так-то и мы: развиваемся мы!..

. . . . .

Из столовой—открытая дверь: там—гостиная дверь открывает таинственно мамину спальню; за *ширмочкой* с *лаковым полем небесного цвета*, откуда летят на резьбе златокрылые аисты, под голубым одеялом, космато поставив головку на голенький локоть,—протянута мамочка в слух; затаивши дыханье, она собирается нам доказать, что нельзя развиваться,—угрозою:

— „Котик!"

— „Сюда..."

— „Не смей слушать!"

— „Тебе это—рано!"

— „Поди-ка сюда!"

Как уйти?

— „Кот, останься!"—ощерится папочка...

Что тут *поделаешь*?

— „А?"

— „Ты не слушаешь матери?"

— „А?"

— „Так и знай: я—не мать!“

Как не мать? Я,—робея, пойду; но едва я пойду, как за мною притопнет словами споткнувшийся папа, расправивши руку с дрожащими пальцами: „ц а п“ за юбчонку, и запах антоновки вдруг пропадет; и повеет другим уже запахом, свойственным тоже ему; этот запах притушенных стеариновых свечек и жженой бумаги бывал мне знаком, когда папа с затушенной свечкою шел в кабинетик из темненькой комнатки; вот—наливается жила на лбу; наливается жила на шее; и—длится молчание, полное ужаса:—

—воют в трубе древотрясные ветры; и явственно слышится звук белендрясов, строчимых на швейной машинке (строчится экспромт: маскарадный костюм);—

— слышен звук упадаемых дров (он из кухни); несется уверенность (экая шалая мысль!), что на кухне пропахло овчиной; Антон, дуботол, дровощеп, стоеросовый весь, дровоствольный какой-то, свалил там вязаночку; и пососав заусенец, ушел, отвонявши овчиной:—

— пойти бы: понюхать овчинки!

. . . . .

Мне память проносит все это некстати,—от страха, что мама проснулась, как тигр, залегая за ширмами, чтобы оттуда повыпрыгнуть, щелкая зубками; и затащить меня, сарта, за ширмочки.

И потому-то: когда закатается папа словами (так рой деревянных фигур закатается в шахматном ящике),—память моя убегает из пяточки в пальчик: со страху, что мама проснется; со страху же крутит в головке какими-то вовсе ненужными мыслями:—

— видел недавно я справа и слева от солнца—два ложные солнца; два солнца померкли, а солнце—осталось; померкнет персидское солнце, померкнет индийское солнце, как папа исчезнет на лекции: мама—останется!

Громко подтопнет тут папа:

— „Ты, Котенька, знаешь ли, вовсе не слушаешь?"

— „Эдакий ты!"

И поддернувши скатерть, запляшут по скатерти пальцы—горошками; дернется словом:

— „В России есть... что?"

Я—споткнулся: молчу; я—такой раскарякой сижу; я—такой недотяпой коснею:

— „Урал!"

— „Есть Урал"—грохотнет и наставится он:

— „А еще?"

Я—не знаю: навалится, дернется:

— „Как, как, как, как?!?"

Посмотрю я: у папы—раскосые, злые, татарские глазки; хочу отвечать; но... за лаковой ширмочкой взвизгнули, щелкая, тигры:

— „Кот! Котик!"

— „Не смей!"

— „Тебе рано...“

— „Сию же минуту—ко мне!“

— „Нет-с, позвольте! Урал, а—еще?“—запыхается папа ладонями в воздухе.

Я—не живой и не мертвый: я слышу, как мама зашлепала: с заспанным, с нехорошеющим, сонно опухшим лицом, позабывши капот, без корсета, без кофты, без туфель, она выбегает в столовую с сосредоточенным видом; и здесь—размахается, пренекрасиво подтопнув босою ногою:

— „Я—мать тебе?“

— „Мать тебе?!“

Вот, ухвативши за плечико, дернет за плечико: вывернет плечико; тускло лицом припадет мне под носик и пальчиком водит, присевши у носика, полной рукой прижимая рубашку к ногам и голея плечом; задевает меня бирюзою по носику:

— „Мать тебе я?“

Я—решаю, что—нет: мне иного нет выбора; знаю, все знаю, но—выбора нет, потому что захваченный папиной пятипалой рукою за юбку,—бежать не могу я отсюда: ай, ай, ай, ай—эдак вывернуть можно мне плечико: будут опять синячки—безобразие!

Тах-тарарах: громко падает стул; завязалась борьба—за меня (оборвали тесемочку мне): папа выпустил юбочку; грозно присел, как козел, пред присевшею мамочкой; смотрят друг другу в глаза (точно так петухи, перед тем как подпрыгивать друг перед другом,—присядут: и—смотрят друг

в друга); и папа не выдержит: едким разрезом раскосых, китайских глазенок, кроваво налитых, как суриком, вдруг подморгнет; и—пойдет, хлопнув дверью; останемся с мамою.

Двери защелкнув, расставивши ножки и выпятив очень сердитый живот, закусает сердитыми зубками красные губы: и—шлеп-шлеп-шлеп-шлеп по щеке; мне не больно нисколько от пальчиков мамочки; больно от злого колечка: зелененький, крепенький камушек очень кусается; мамочке—под ноги: малым комочком; целую с любовию ножку: Христос повелел нам молиться за грешников.

Мамочка—тоже заплачет; и—выйдет; сижу—на полу; по паркету бежит ползунок-паучок многолапым комочком;—за ним; да и ножкой расшлепнул его по паркету: под ножкой замазалась черная т л я-т л я.

Вот—вечереет: и жжется сожженное око,—далеко; и ухают тени с востока; сожгутся сердца; и сожмется под сердцем какое-то ч т о-т о:—

— и мерк-

ло за окнами: холод синел замеркающим домом; давно убеленный сединами день показал, что он—негр, прочерневши вечерним лицом; и—туманясь снегами на крышах; на лысую голову шара земного надели цилиндр, очень черный; рукой роковой нахлобучили ночь; одиноко и строго.

Сажусь я под окна; и ночь чернорого: уставилась в окно; в углу началось размножение мраков; пошел в коридорчик: присиротинился к печке;

свирепо затрескала печка поленьями; красное пламя ходило по красным, уже об'едаемым с краю дровам,—расшипелось, рассыпалось златом и жаром: чернело угляшками; ярко мигали везде васильки-мотылечки угарного газа.

В гостиной,—там бабушка крепко уселась на просидне кресла с моточком, с крючочком: разматывать мне, выборматывать мне: из меня самого—мою жизнь, и посматривать, взглядом сверкнув, как огнивом, из сумерек:—

— черная бабушка—жизнь; этой бабушкой стала и бабушка; мы ею станем, когда мы устанем; а мы устаем что-то: старимся мы, как другие, которые с молоду так, как и я, залегают, как гусеница, в перевязанных крепко пеленках, потом вылетают, как бабочки, кушают много, как мама, становятся толстыми бабами, как Докторовская, ходят грудасто, сидят животасто, и дрябло обвесясь морщиной, они досыхают, как бабушка, горбиком, или развесясь сухими ушами, как связкой грибов, приправляются к супу—

— и тут рассмеется беззубо двузубая бабушка; и—пустоглазая тетя моргает из тени: в таком положении; и рассыпая свое пустородие звуков, со мною, побитым, отшлепнутым, странные игры заводит свои: обнимает и водит меня по теням, как по дням; кто-то вытянул лапу из темных потемок, а я прохожу через лапу; а там:—

—ту—

в друга); и папа не выдержит: едким разрезом раскосых, китайских глазенок, кроваво налитых, как суриком, вдруг подморгнет; и—пойдет, хлопнув дверью; останемся с мамою.

Двери защелкнув, расставивши ножки и выпятив очень сердитый живот, закусает сердитыми зубками красные губы: и—шлеп-шлеп-шлеп-шлеп по щеке; мне не больно нисколько от пальчиков мамочки; больно от злого колечка: зелененький, крепенький камушек очень кусается; мамочке—под ноги: малым комочком; целую с любовию ножку: Христос повелел нам молиться за грешников.

Мамочка—тоже заплачет; и—выйдет; сижу—на полу; по паркету бежит ползунок-паучок многолапым комочком;—за ним; да и ножкой расшлепнул его по паркету: под ножкой замазалась черная т л я-т л я.

Вот—вечереет: и жжется сожженное око,—далеко; и ухают тени с востока; сожгутся сердца; и сожмется под сердцем какое-то ч т о-т о:—

— и мерк-

ло за окнами: холод синел замеркающим домом; давно убеленный сединами день показал, что он—негр, прочерневши вечерним лицом; и—туманясь снегами на крышах; на лысую голову шара земного надели цилиндр, очень черный; рукой роковой нахлобучили ночь; одиноко и строго.

Сажусь я под окна; и ночь чернорого: уставилась в окно; в углу началось размножение мраков; пошел в коридорчик: присиротинился к печке;

свирепо затрескала печка поленьями; красное пламя ходило по красным, уже об'едаемым с краю дровам,—расшипелось, рассыпалось златом и жаром: чернело угляшками; ярко мигали везде васильки-мотылечки угарного газа.

В гостиной,—там бабушка крепко уселась на просидне кресла с моточком, с крючочком: разматывать мне, выборматывать мне: из меня самого—мою жизнь, и посматривать, взглядом сверкнув, как огнивом, из сумерек:—

— черная бабушка—жизнь; этой бабушкой стала и бабушка; мы ею станем, когда мы устанем; а мы устаем что-то: старимся мы, как другие, которые с молоду так, как и я, залегают, как гусеница, в перевязанных крепко пеленках, потом вылетают, как бабочки, кушают много, как мама, становятся толстыми бабами, как Докторовская, ходят грудасто, сидят животасто, и дрябло обвесясь морщиной, они досыхают, как бабушка, горбиком, или развесясь сухими ушами, как связкой грибов, приправляются к супу—

— и тут рассмеется беззубо двузубая бабушка; и—пустоглазая тетя моргает из тени: в таком положении; и рассыпая свое пустородие звуков, со мною, побитым, отшлепнутым, странные игры заводит свои: обнимает и водит меня по теням, как по дням; кто-то вытянул лапу из темных потемок, а я прохожу через лапу; а там:—

—ту—

—ту—
—ту—
—чер-
ноходы пошли коридором: выстукивать! Черные фраки проходят безного, безглаво—один за другим, наклоняясь друг к другу из'ятием лиц и потом поднимаясь наверх руконогом теней в семиножие дней: кружеветь потолками и рваться лучом белолапого пламени:—

— это Дуняша проходит со свечкой: сквозной, черномазый гримасник—за нею запрыгал, тенея, чтоб в бременных сумерках реять безвесо;—

— в оранжевом пламени и в шоколадных обоях сутулится папа, вернувшийся с лекций; мама, откинув головку и ей уплывая в боа, колыхает турнюром, дрожит растопыренным током малиновой шапочки, руку просунувши в муфту,—проходит, со снегу (вся белая, в снеге) к себе:

— „Не подумаю я горевать"—она дернула носиком; папа сидит, углубясь в вычисленья и делая вид, что он мамы не видит; он если поднимет на маму глазок, очень хитрый и вовсе не злой, то повыпятит губки она; он же очень рассеянно, перед собой поморгавши, уткнется в зеленые пятна сукна, и—чинит карандашик:

— „Ну"—думаю я—„продолжается ссора"...

Я—слаб; да я—раб: утопаю опять в бормотании баб,—закопавшись в матрацик до утра: а старая баба — склонилась; и — шамкает черною

челюстью;—

—вдруг!—

—озарилось!—

Не черная баба, а белая мама блистает свечою, окапавши лобик,—в глаза; беспощадной рукою откинувши кудри,—бывало посмотрит на лобик; а лобик—большой:

— „Большелобый!“

— „В отца...“

. . . . . .

Как растрепаны мамины кудри: живот злопыхает, грозит загибаемый пальчик; надуется под подбородком второй подбородок:

— „О, нет!“

— „Не в меня!“

— „Весь в отца...“

И отшлепает в сумрак; боюсь: чернорогий бубука, сквозной незнакомец, из кресла мычит мне коровьею мордой...

. . . .

Ночами я—пленник; ночами сплошной веретенник бормочет во мне расширением слуха; и малая волосиночка шороха, бухает громким поленом; и черное пятнышко, режущим скрежетом, быстро подымется бегом: осиливать лунный косяк; остановится, тяжко присев, как рачок: таракан!

Вот минуты оттикали, слабнут едва намечаемым просветом; вижу: чернила—синило; и знаю:—

— денек, белоногий младенец, крича благим матом,

бежит уж в дугу вековую небесного свода; косматые мамы за белым младенцем пустились: с сосредоточенным бешенством; и—совершится убийство: минуты затикуют каплями крови и слез; душегубки, колонною плакальщиц станут направо и станут налево; и кто-то брадатый, и кто-то крылатый косматою митрою встанет над гробиком; будет отчитывать громко он:—

—бе́ри-бе́ри-бе́ри-бе́ри—

бербе́ри:

—бербе́ри-бербе́ри-бери́;

—е́ри—а́рии, арии:—

— папа рассказывал раз о великом персидском пророке, по имени „Зороастр";—

—и я вижу во сне:—

—продолжают они заколачивать гробик, пока он не лопнет лучами сторукого солнца:—

—Ягуро-Ма́здао!—

—И тут просыпаюся...

. . . .

Утро!

Легчайшие перегоны снежинок дымеют под склянное, искряное, синейшее утро; алмазник какой-то; вселенная точно надела алмазную митру и сыплет свои драгоценные краски персидским ковром; папа тянется к мамочке: треплет по плечику; мама, надув свои губки, ему позволяет; я—

взвизгну от радости; знаю, что к вечеру будет звонок очень громкий: прибудут картонки (подарочек папа пришлет от Кузнецкого Моста); и сердце мое—ходуном, а у мамы глаза—колесом, затрясется руками, срывая бечовочки; вынет оттуда большой абажур, обвисающий кружевом, и—облизнется, как кошечка, от удовольствия.

. . . . . .

В нашей гостиной еще с Рождества сохранилася елочка; вечером этим ее убирают опять; и она—в ясных шариках; все самоцветные шарики полнятся легкостью; тронешь чуть-чуть, и—закракал своей скорлупою разбитый напученный шарик; я знаю: опять в картонажах дражэ; прикупили хлопушек...

. . . . .

Уж пукнула порохом вот золотая хлопушка; и вытащен желтый, бумажный колпак из нее; и уже на головке—разорван; другая запукала; и—подарила свои мне штанишки из синей бумаги; но—коротки; экая жалость; ну—сдерну орех; закачались все ветви, попадали иглы; и цокнул в паркет оторвавшийся шар; золотая теперь скорлупа захрустит под ногами:—

—как все здесь просвечено, все здесь освечено; обриллиантилось, ясно заглазилось; просто глазастый алмазник, иль—митра; мой папочка, светлый, надевший колпак, точно митру, обвесил себя золотою, бумажною цепью и ходит таким Зороастром:

— „России, мой друг, предстоит в отдаленнейшем будущем—свет; „Русант“ это—светлый; и „русский“ иль „русый“ есть—свéтенник!—

— „Да-с!“—

—Посмотрю я в сквозной пересвéтень; пастилкой набил себе рот; так рубинно-прояснен из пахнущей зелени нам красноярый фонарик; схватились за руки; и—кружимся: блеск—вертолетами!

ПАПА ДОШЕЛ ДО ГВОЗДЯ

В наши углы приседают подслушивать!

. . . . . .

Мама—в разбросанных чувствах: присела под ширмой, у шкафчика; створки из красного дерева ручкой раскрыла, наполнивши комнату запахом спертых духов; ослепительно выехал ящичек, пахнущий лаковою чистотою и блещущий тем, что его наполняло:—

—сушеный цветочек, душеный платочек, стеклянный дракончик, граненый флакончик: флакон за флаконом, сверкая оранжевой, гранной стекляшкой из матовых стекол притертых, скрежещущих поворотами пробочек, райски поблескивал; горный хрусталик, стеклярусы; бусы и бисер в картонных коробочках, два аграманта:—

—все это расставилось рядиком на ослепительном дереве, томном от запаха,

распространяемого из сомóвого цвета сашэ, где хранилася стопочка малых платочков, оранжевых, розовых; кучечки: синих, лиловеньких ленточек, ясно сказавшихся звоном бубенчиков (от котильона); здесь есть веера—кружевные, резные: из лайки, из кости,—с точеными ручками; есть и коробочки с пудрой;—

—перетирать, право, нечего: мамочка перетирает все это! Рискуя быть изгнанным, крадусь по стенке в сверканье граненых флаконов, в мир запахов... Вижу себя я из ртутной поверхности зеркала туалета, надувшего кружево, в очень голубеньких бантиках: перед постелью раскинута ширмочка лаковым, синеньким полем; на ней—золотые рельефы распластанных в воздухе аистов, вечно повисших на небе; за небом—постель, где на стеганом, ярко лазурном ее одеяле—под кружевом взбиты подушечки; мама в лазоревом „п у ф е", сложив ногу на ногу (ноги—босые) в белеющей кофточке, в косо надетой и палевой юбочке (в нижней), своим полотенчиком перетирает флакон, прижимая к коленям притертою пробкою:—

—пудреница, граненая из хрусталя; там—пуховочка: пуф-пуф-пуф-пуф; и—напудрился: пудреный! Вот бы еще уголек: я бы вывел усы и отгрыз: перехрустеть на зубах и показывать черный язык Генриэтте Мартыновне:

„Ach, was wird sagen M a m a?"—

— А „Mama"то—

вот здесь; и не видит: перетирает флакончики; кажется: все перетерто и все перевязано; но—

— вот рукою над носиком приподымет флакончик, понюхает, глазки прищурив, усмотрит пылиночку; и, обхватив полотенцем, прижмет к шелковеющим, желтым коленям; и—

—трет: перетирает все сызнова: в том же порядке; слова, как болтливые мухи, слетают с ее язычка в... тишину кабинетика жужжелжнем: папе под ухо; для этого дверь в кабинетик нарочно открыла она:—

—так мушиная стая под ухом жужукает в солнце; рукою махнешь: она—дернется, ярко блеснув изумрудником спинок; и—снова танцует под ухом: жужуканьем жутким: „ж у - ж у“ да „ж у - ж у“—не кому нибудь лично; так, в воздухе!—

—Пусть, пусть, пусть:—

— „н е к о т о р ы е, к о т о р ы е“ могут услышать, услышат о „н е к о т о р ы х, к о т о р ы е...“—

— „Некоторые, которые думают, что постигают науку, а в жизни остались болванами,—да!.. Иметь шишкою лоб и бить стены им вовсе не значит быть умником...“

— „Тьфу!“

— „Вот вам на-те же: тьфу!“

— „Большой лоб?“ —

— перетертый флакончик

поставлен; берется другой, недотертый; и—трется, и трется; и раздается покорное:

— „Гм!“—

—за альковом, из двери; то—„некоторые“, которые молчаливо засели в своем кабинете;—

—февраль настигает уже; он — ветрищенский месяц: разлéйные ветры овьются кисными снéгами, ходят по крышам; день—ветреник, белый свистун:—

—дымолет вырывался из крыш вертолетом, ввиваясь во все перекрестки Москвы, развевая подолы и шубы по белому воздуху, брызгая снéженью; да: и неслись сквозняки в ветрогонные дни, где измеркшие полдни тенились туманною грустью; сырой, многокапельный желоб закапает: капает, капает, капает!..

. . . . . .

Мамочка руки свои разведет (с полотенцем—одна и с флаконом другая); и—кланяется головою в колени:

— „Да, это вот я понимаю: квартира в двенадцать и более комнат; у прочих—квартира в двенадцать и более комнат, у нас же“—

— граненый флакончик поставлен; берется—граненый дракончик!

— „Да, это вот я понимаю: балы!..“

— „А у нас?“

— „Собирается мертвая плесень: плешивая плесень... Кого соблазнять? Разве моль...“

— „Да!“

— „Сложив на животиках руки, забегают пальцем о палец, как этот Бобынин...“

— „Что толку?“

— „Лобанисты!“

— „Лбами мостить мостовую?“

— „На это есть камни“.

— „А волосы с'едены молью: присыпать на плешь нафталин? Даже мухи замерзнут от скуки,—не то, что я, бедная...“

. . . . . .

В папиной комнате—серо-свинцовые сумерки; серенький папа, слепец и глухарь, в нависающей сери над пылью сукна неприятного, серо-зеленого цвета, зачмыхает носом, тихонько поднимет глаза и уходит глазами по крышам: во мглу дымогаров; и—снова заходит по листикам он карандашиком; с крыши, под тучей широко распучилось очень жестокое око: циклопа; и—лопнуло кровью; и вниз излилось: чернобровое небо в окошке:

— „Иные вот, пользуются очень доходной казенной квартирой,—да: академики!“

— „Если бы подлинно был у нас лоб, а не камень, давно бы мы жили не здесь: на Васильевском!“

— „Да, это—я говорю...

— „Чыбушев—академик, а Янжула—прочат; за Янжула кто-то хлопочет. Из Питера...“

Книжные груды бросают от окон на папочку тень, точно руки; и вот занавеска, которой

покрыты шкафы, опустилася лопастью (папу подглядывать, не академика, а — „нафталинную плесень"); она опустилася, точно гусиная, или, верней, ящериная морда,—не лопасть:—

—зеленый дракон, обитающий здесь, на шкафах, опускаясь гусиною мордой со шкафа, наверное решился подглядывать папочку, что он там делает над интегралом.

Сутулые плечи не дрогнут: лишь стул поскрипел, да нога незаметно дрыгнула:

— „Страдалица я: предводительский бал на носу, а в чем выеду я? В кружевном, в переделанном?"

— „Некоторые полагают, что так: накромсать лоскутов, и поехать... Лепехина—сшила... Лепехин—не мы!"

Оторвавшись от пыльных бумаг, он покорно уставился ухом на дверь, выявляя свой добрый, свой песий, чуть-чуть озабоченный профиль:

— „Послушай, Лизочек: Лепехин—делец... Не мешай, мой дружок, вычислять"—и покажет сутулую спину, уткнувшись в бумагу; но мамочка, в беленькой кофточке, вскочит, совсем раз'ярясь; и топочет от ширмы в слепой кабинетик, развеяв рукой полотенце с высоко воздетым граненым флакончиком:

— „А?"

— „Вы работаете?"

— „Мне какое до этого дело?"

— „Лепехин работает тоже, но он—на семью; у Лепехиных выезды...“—и начнет подставлять под струю рукомойника красные грани граненого донышка: брызжет водица холодным, перловым разбрызгом; и дзанкает звонко́ педаль рукомойника; папе подставлен турнюр.

Уронив карандаш, он подскочет; и—дернется в нетерпеливом движении к лампе; и—„дыздики“ громко воскликнула стеклами лампа; и чифучирится спичка; и выскочил рыжий оранжевый свет, расплетая сплетенье летучих мышей; мыши порхнули в угол (не мыши, а тени); но спичка погасла:

— „Ах, чорт возьми!“

И—из углов вылетают летучие мыши над папой, который горбато метается по́ столу: спинником!—

—Точно стараясь укрыться от громких упреков; а мамочка, топнув ногой, повернется развеянной кофточкою, обнаружив открытую грудку с нечесаной шапкою полураспущенных кос, рассыпающих шпильки;—

— и вспыхнула лампа (надет абажур); и—оранжевый свет побежал по сукну, полосато улегся на желтых, вощеных квадратиках пола; и бывшее серо-свинцовым и серо-зеленым теперь превращается в яркое все: в шоколадно-оранжевое и в зелено-оранжевое (шоколадного цвета обои, шкафы; на шкафах—занавеска зеленого цвета; зеленого цвета сукно—на столе); и я

вижу сутулую спину лохматого папы; и вижу затылок, упрямый тяжелым решением: перемолчать что бы ни было, или же—лопнуть; и слышу: из громкого ротика в спину ударится жужелжень желто-оранжевых ос:

— „Есть такие вот, некоторые, которые..."

— „Не имея ни сердца, ни чувства, сидят, погружаясь в дурацкие вычисления эти..."

Забарабанили пальцы по краю стола—

—тарарах-тахтахтах!—

—Очень дерзко и твердо: отчаянным вызовом; но—

— топ-топ-топ!—

—побежали к спине очень твердые ножки и, выпятив гордый животик, нарочно стояли такой раскарякою; локти гуляли, перетиралась у сердца протертая пробочка; пенился ротик от всхлипов и выкриков:

— „На-те же: вот вам!"

И плюнула на́ пол...

. . . .

— „Ага-с: хорошо-с!"—

—повернулось лицо с очень злыми, раскосыми глазками, с очень взлохмаченной вдруг головой:—

—так и пес: загоните его в кануру, он—покорно свернется, под хвост положив свою морду; но там, в кануре, не дразните

его: с громким лаем он кинется—

— да: повернулось лицо с очень злыми, раскосыми глазками, с переклокоченной головой; и—распалось в морщины лицо с очень злыми татарскими глазками; стало совсем, как сморчок, угрожая колючей щетиной; и стало дырой, из которой вдруг хлынули:—

— не-
-ко-
-то-
-ры-
-е-
-ко-
-то-
-ры-
-е!!....

. . . . . .

— „Ах!"

— „Вы—тираны!"

— „Вы—деспоты!"

Вижу я: мамина правая прядь развернулась; и—свйтым кольцом нависает; а левая прядь раззмеилась на плечике; рот—растянулся от страха и злобы; пятно лицевое—медуза, которая шлепнется; губы—накусаны, губы опухли кроваво; она—отступает от папы, которого красная маска лица, разлагаяся, озеленела; которого пятипалая лапа протянута:

— „Если не смолкнете..."

— „Я...“

— „Вас заставлю молчать“.

— „Я—даю пять минут“—

—и положена тяжеловесная луковица часовая: на край рукомойника.

. . . .

Мамочка спряталась в тени, отшлепав к алькову и взвизгнув оттуда собачкой, которую пнули:

— „Не позволяете мыться, насильник: мой, мой рукомойник—не ваш!“

Но ответствует кто-то с отчетливой злобою:

—„Так-с!“

— „Умывальник поставлен не мною ко мне!“

. . . . . .

О, я знаю, что будет: ужасное будет!

Некоторые, которые... ничего не боятся, которые обрывают министров и топают на попечителя округа и превращают Пафнутия Львовича просто в котлету (сырую и красную), некото-ppp-

-ppp-

-ppp-

-кото-

-ppp-

-ppp-

-ppp—

— Законодательством страшным, Синайским—

ppp-

-ppp—

—перерявкают, мир, перетявкают, пере...—

— иные боятся оттенка чудовищно-рыжей, таящей в себе шаровидную молнию, тучи, которая посылает не грохот, а прямо за красною молнией,—„бац", расщепляющей сосны под домом,—

—а я ужасаюсь молчанию этих пяти проползающих тихо минут—

— („Я даю пять минут!")—

—где секунда есть вечность; и—затыкаю, присевши на корточки, уши—до... до... до...—

—до чего?..—

— Между тем: до... до... до... до „т о г о" (т о г о с а м о г о!): „н е к о т о р ы е, к о т о р ы е":—

— в воздух взлетев, пиджаком припадают увесисто на бок, на левый, лицом, разлагаемым черной морщиной, щербимой китайскою тушью, и оттеняющей старый мертвак неживого лица с разорвавшимся ртом до ушей, и с прищуром раскосых глазенок, окрашенных суриком,—

— напоминающим маску лица самурая, взмахнувшего саблей,—

—его показал Хокусай!—

— Эту маску лица самурая, взмахнувшего саблей—

—являет лик папы, припавшего носом к руке, зажимающей... ржаво-оранжевый гвоздь, чтоб ударить гвоздем оглушительно: в жесть рукомойника!—

— Этот прием он придумал; прием укрощенья строптивой, которая звуком гвоздя... повергается в обморок: головою в подушки; и—тонет от слез...

. . . . .

Протекают минуты до... страшного „баца", и ухает в красно-оранжевый свет кабинетика тьма, из открытых дверей, где отчетливо-желтое кружево злого, фонарного света легло... саламандрою; мама оттуда поносит (не долго ей!) всех: математиков, бабушку, дедушку (папу и маму—не маминых: папиных...), всех четырех моих теть и шестнадцать племянников; я затыкаю от ужаса ручками уши и носик, упавши коленками на пол; и кланяюсь:

— „Господи, господи, господи, господи: ты—пронеси, пронеси, пронеси! Ты спаси и помилуй, спаси и помилуй, о, господи, господи, господи, господи!" —

—вдруг: я, обвеянный клубами рыжего ужаса громких китайских тайфунов,—я слышу сквозь пальцы, которыми уши заткнул:

— „Остается—пятнадцать секунд!.."—

О!

О!

О!

. . . . .

Открываю глазу; вижу—

—бац!—

—упадает нога, голова и рука; нога—на пол; рука—к рукомойнику; и перержавленный до-желта гвоздь ударяет о жесть рукомойника:

—„Бац!“—

—Из раз'ятого рта выбегает кровавый язык своим загнутым кончиком; в воздух слетают очки; и дугою взлетает платок носовой из кармана; „он“ бегает спи́нником, вертится, машет руками, и бьется оранжево-ржавым гвоздем по железной кровати, по тазу, по жести;—

—своей пятипалой рукою схвативши зажженную лампу, стоит с этой лампой, стараясь и лампу раздрызгать о пол и закракать стеклянником, взвеявшим черно-кровавое пламя и копоть, чтобы просунуться в пламя, пропасть в клубах копоти...—

—Лампа рукою опущена снова на стол; и наверное:—

—нет кабинетика: в красных кругах разлетелися стены:—

—и *папа*;—

— копьем свирепея, затиснувши круто ногами мохнатую лошадь, на собранной коже, в раздолье далекого прошлого гонится—согнутым скифом: за персом; вернее: за кожею перса! И пламенем лопнуло солнце; и степи дымят перегаром; и перс

от него удирает, прижав свою голову к гриве коня, перекинув за шею косматую руку с обтянутым кожей щитом, на который вдруг звукнул удар пудового копья, раздробившего щит и к загривку споткнувшейся лошади перса пришившего: проткнутой шеей...—

. . . . . .

Когда я очнулся: то—кабинетик был заперт; и было молчание:—

—только в трубе завелся этот ветер, опять зажужукавший трутень: опять завелся этот дудень: средь дующих будень летим: в—

—в веретенники дней и теней: без огней!..

СКИФ

— Да: —

—во вращениях времени:—

—пленное тело, галдя, оголтело; а в облаке пыли: обличье сутулого скифа, согнýтого в рыжие пыли, копытами взбитые, трясшего красным, оранжевым древком из дремлющей древности, дико оскалясь,—скакало, скакало (за персом, мерцающим митрою):—

—скиф же—босой, толстопятый, в исплатанных старых штанах, обвисающих с кожи не содранной шкурой, косматый, щербатый; зеленый и бабий живот выпирающий выше штанов, улыбается пупом в косматые

ребра, откуда болтаются слабо обвислины: —

— прянно несло одуряющим запахом: тминными травами; взвизги копья через воздух,—дугою; и—шеей приколотый перс, прилипая к загривку, безумный от болей, блистающий золотыми металлами митры,—и скачет, и плачет; а красное солнце, садясь в перегары,—коричневый круг: густота, темнота; только топают ноги коней, бременея во времени; только колотятся в облаке пыли два тела, сутулые:—косоглазого, дикого скифа, кричащего ярым оскалом, и мертвого перса;—

—и—да: временами писалась большая дуга:—

—уплотнением пыли связалось скакание; плотная пыль—мое тело; и скачет под грудкою, скачет в головке; и я разрываюсь в скаканиях мысли, в скаканиях сердца: —

— так в теле:—

—в моем!—

—совершается бег по минутам: и мертвого перса, и дикого скифа; копыта колотятся; в грудке—растущий комочек, кровавый комочек: мой скиф!—

—посылающий красными копьями сонных артерий отраву; и от нее переливная пестрень персидских орнаментов мысли, перемеркает туманными массами в матовый, в мягкий,—

—в мой!—

—мозг!..

И свинцовыми болями скачет мертвак по головке...

. . . . . .

Картина, которую видел я,—папа с гвоздем,— поднимает огромный обломок былого:—

—о, вспомнилось!—

—папа горящею лампой однажды поджег занавески, склонившись над массами книг, у окна; стены вспыхнули ярко, но он, оборвав занавески, своими совсем тупоносыми пятками перетоптáл прилипавшие к полам халата багровые клочья в суровую сажу; стоял, перемазанный сажею, в саже; и, очень довольный, смеялся на возгласы:

— „Вам бы пожарную каску!..“

Так стал он пожарным!..

За этим событием памяти, чувствовал я, приседает другое событие—древнее, древнее: в ярости пламени—

—вспомнились—

— вящшие ярости: дикие, скифские!

. . . . . .

Все, что ни есть, обвисает: бумагой, обоями, слетными шторами, шопотом штофных материй; и все превращается в кружево копоти после того, как из лампы, которую не привернули, забьет в потолок керосиновый, красно-черный, пфуфукнувший столб:—

—истлевают во мне паутинники, волосы,

войлоки нашей квартиры в кровавый пожар; и взлетает, как занавес, вспыхнувший морок обставшего,—в прошлое: вижу—из пыли, из тминников: скифа и перса (борьбу их во мне)!—

—вот затопал комочек под грудкой; и—к горлышку; жила на шейке колотится; екнуло в ребрышке—

— жду, что—

—взовьется глухая стена, как подлетная штора, мягчайшими красными складками в красном луче пронизавшего лобик копья: обнаруживать ужасы множества тлеющих комнат, ширеющего от меня, как ущелье; в просторы туда—прохожу, мимо стен, развороченных, метко рассеченных красными кирпичами и справа, и слева: туда—в мое прошлое,—

—вижу—

—стенные проломы, окрасились солнечным хохотом, бьющим из далей, распались в ваянные, голованные лбанности басом болтающих каменных баб, разорвавших губанные рты; отболдела направо какая-то злая башка и двулапо схватилась над каменным пузом, как глупая тумба, беспалыми ка́мнями; вижу налево: уставился кто-то продолбленным пупом; и—кажется ярко-оранжевым, ржавым, охваченным пламенем грозных костров; перешмякают щебни с трухлявого лика на мергели:—

—ки—

—ка!—

—какие-то лики, какие-то кики!—

—оттуда, из красного вижу я: скифа; он гикает дико, схватив пятипалой рукою блеснувшее в воздух копье и старается воздух раздрызгать вдруг свиснувшим, как метеор, острием, круто пишущим злую дугу на мой лобик; и кракает лобик,—разбитый стеклянник; я падаю, перс, окровавясь; на красных кругах, выбиваемых быстро из глазок, разбрызгана жизнь моя!

ПФУКИНСТВО

В нашей квартире давно поселился „старик", прибывающий в комнаты ночью: из комнат, им замкнутых; там—кладовая, в которой я не был; туда, вероятно, проходят чрез темную комнатку (водопроводчик выходит оттуда); „старик" коренится давно в кладовой—в паутиннике: Пфука! босой, толстопятый, в исплатанных старых штанах, обвисающих с кожи не содранной шкурой, косматый, щербатый; зеленый и бабий живот, выпирающийся выше штанов, улыбается пупом в косматые ребра, где слабо болтаются две полу-бабьих отвислины: проборадеет он жеванным войлоком, тихо открывши скрипучие двери; и—

—комнаты!—

—комнаты!—

—строятся по коридорному строю: —

— дичая, висят паутинники; шлепают громко босые ножонки—туда, к старику, привалившему в свой паутинник, припавшему к собственной лапе и серой, и грязно обросшей—сосать; ковыряется ей, сжавши ржаво-оранжевый гвоздь; ковыряет грибное, сушеное ухо; а лапа окована ржавым кольцом, восклицающим связкой ключей: от квартиры.

Он пфукнет,—

—как еж!—

—равнодушно кидаясь на всякого, кто ни просунется; и от усталости быстрого бега протянет слюнявый язык; побежит через комнаты (ах, путь далек, путь далек!) до столовой, где бабушка скорбно гадает, боясь, что червонный король, или староста наш, Светославский, покроется пиками; и—ей в колени.

— „Чего ты, Котеночек?"

— „Это—Петрович!"

— „Войдите, Петрович!"

Петрович и входит.

Задохнешься в беге—одно остается: упасть, закрыв личико—лбом в паутинники: в пол; и ты ясно горячее пфуканье мокрого носа в затылок: услышишь; нет, нет, не кусается...

Ночью откроется скрытая дверь; и со связкою ржавых ключей босоногий—„топ-топ" по квартире; завозится: нюхает, перебирает, ворочает,

вдруг начиная чесаться ногою за ухом; и слышу я топот старичьей ноги, ударяющей в пол, и зачмоки слюнявой губы, деловито вцепившейся в шерсть: щелкать блох у хвоста меж зубами; он ищется там; и—потянет, потянет:—

—босыми ножонками топаю в прошлое; ах,—там все огненно: вспыхнут два глаза, как свечки; я, схваченный,—в диких прыжках (на спине!) с половицы—на стул, да на стол, да на дверь: по годам, по векам,—к подоконнику: вынута вата, стаканчики с ядом; повис берендейкой, повис над Арбатом; от каменных виноградин: вот желоб зеленый,—по желобу к крыше, туда, к безотцовью: не взлезем; двенадцатый, двадцать пятый, сто первый этаж; нет и стен; только желоб—тычком в необ'ятности... кончился!

Желоб, расшатанный, вот подо мной закачается; время течет из него подо мной в расширение желоба; дрыгая свешенной ножкой,—над чем я—свалюсь, в безызвестие—ах, потому что „в таком положении" сесть! Коренится решимость: отсиживать здесь без обхвата чего бы то ни было; то, за что можно схватиться,—во мне; чтоб схватиться, я вывернусь; что же? Превысивши грани, я вышел и—сел: на тычок математики!

Я — математик, благуша — кричу благим матом.—

—И—ах!—

— оглашая „ничто", я стремительно

падаю так,—

— как копье одичавшего скифа на мертвого перса, и как звезда, прободавшая землю,— раскрытое темя младенца — воспламеняется: в мозге—

—все вспыхнуло:—

—блеском свечи!..

. . . . . .

— „Котик, Котеночек мой, Котосёночек мой: что с тобою, мой маленький? Что ты, голубчик? Мы—здесь: успокойся!"—болтакает что-то.

— „Ах, что с тобою?"—болтнуло.

— „Что, что? Это—мы, это—мы: это папа и мама!"

Я, тихий безумок, я вижу худышку-голышечку, маму, волною волос мне покрывшую грудку мою и об'ятьем, мне радостным, жарко припавшую; вижу и папу, со свечкою: в сером халате, косматый, он пфукает, морщится заспанно так, изуверски; раскрытая грудь—волосата; на ней чуть намечена вислость—какая-то полубабья; он—бекает: „Ты, братец мой, как же так, стало быть... да!"

— „Предаешься, брат, ты атавизму: переживанию первобытного человека..."

— „До свайных построек!"

. . . .

Но мама бобыней надулась на папу.

— „А я говорю вам всегда: вот плоды от науки..."

— „Ребенку играть! Ну чего пристаете к нему вы: все „с и л ы" да „с и л ы"...

— „Какие там „с и л ы"...

— „Ребенку—попеть, порезвиться, а вы с „математикой"... Он и кричит: „Афросим".

— „Это что же такое, мой маленький?"

— „Кто это там Афросим?"

Безупокои ночные уходят, сменясь упокоями.

. . . . . .

Светоедная ночь об'едает мне все, даже сон; и—заводится около; и чернодумно опустится в кресло: сидеть до рассвета—глубокими мраками, мне говорящими:

— „Нету пределов!"

Везде — неизменность отсутствий чего бы то ни было; и—неизменная верность темнот, неизменная злоба пустот; вдруг — она протупеет предметами; и просинеет меж ними присутствие утра:—

—чернильные сини развеются в синие сини; и серые бесы заводятся; серые бесы уселись на спинку сутулого стула; я знаю: когда расцветет,—это будет белье; облекусь я в него: так все бесы оденутся утром, и—снимутся утром, чтоб бегать по комнатам:—

— серые бесы —

— сомненья мои—

—зацветает: облизилось все; вот и стул, и на стуле белье, дозиравшее только что мертвенной мордой; стена выступает уже над кроваткою в месте отсутствий чего бы то ни было; и—закрывается мрак; прилепляется детская комнатка

гнездышком к малой кроватке, висящей над пропастью; в гнездышке—я; чтоб оно не упало—подставился дом Косякова, а под него подставляется весь земной шар;—

— прилетели из ночи опять на Арбат!

Уже белое, белое все: Генриэтта Мартыновна там папильоткой встает над постелью.

— „Genug!"

— „Genug schlafen: neun Uhr!"

— „Ах, какое „genug": я без сна провалялся!"

Квартира скалой выступает: потоки событий ударятся, пеной своей облизнут непробойные стены; скрипят половицы под качкою временных волн; все составы событий, увы, расстаются в нестаны безбытий: лишь стены одни остаются; в пробежное время бежим неизбежно: я—с кубиком, мама—со шляпной картонкой, а папочка с новой брошюркой своей: „О радикале е-и к с"; но все-едное время грызет все, что есть, загрызет все, что есть: будет нечего есть! Семиноги недель пробегают стремительно; громко скрипят половицы под тяжкой ногою: то время проходит все ту же дорогу: хромает часами на черную ногу; и все оседает под действием времени: пол, доктор Пфеффер, живущий под ним; Пильс, кондитер, живущий под доктором Пфеффером; дом Косякова давно оседает; под ним оседает земля; надувающий ветер погромом проходит по крышам!..

Да, все изменяется в ветре и времени: более всех изменяются люди; предметы—прочнее; но им

я не верю:—

—поблескивает позолотой картина Маршана—резьбою украшено кресло; но в спинке—дыра с пропирающим зубом пружины и с войлочным волосом; за позолоченной рамой—пылища; пианино, откуда звучит—это все, отодвинув, увидели доски; а то, о чем пелось, и что накричали под пальцами клавиши,—где оно, где? Коленкор? Да он порван... Игрушки, в которых мне виделась жизнь, как в малиновом клоуне, щелкавшем в бубен, когда нажимали на грудь,— оказались набитыми: волосом, войлоком,—

—как и малиновый клоун
набит этим войлоком!—

—Что ни сломаешь,—увидишь пружину, которую я вынимал отовсюду, ломая игрушки.

О, серые бесы,—сомненья мои; недобудно коснею я в вас!

. . . .

Любопытство мое оттого, что не верю я сказке предметов; и—знаю, что за картиной Маршана не дали, а пыль на стене; за узором обой—безобойные стены; и то, что приставлено к ним, отлетит и иначе расставится, как кабинетик, который явился в том месте, где были постели: две рядом; перелетели предметы; и мамочка спит в комнатушке при нашей гостиной, распространяясь в гостиную и выгоняя оттуда захожего папу:

— „Идите отсюда: чего вы слоняетесь!“

Помню:—

—проснешься: столовая—здесь, а гостиная—там; это—мамочка: все-то она суетилась, перетирала, меняла, покрикивала, перегоняла меня, Генриэтту Мартыновну, папу из комнаты в комнату и заставляла надеяться, что наступает теперь, после всех изменений—прекрасная жизнь; оставалось по-прежнему: волосом, войлоком, пылью и псиною; псиною пахло разлапое кресло.—

—Напрасно старается мамочка все украшать очень сложным составом предметов, обильно свезенных с Кузнецкого Моста; составы предметов—нестравы: распались!

. . . .

Два важных события в жизни предметов я помню; атласная мебель протерлась: ее просидели; мотались оборвыши; грязная вата торчала; в местах, где обычно профессор клонил седину, обозначились темные пятна его непромытого волоса; тут появился закройщик с Кузнецкого Моста: и показал лоскуточки материи; нравился синий, с глазочками; но—заказали оливковый; перебивали материей кресла, оклеили стены; нарядно висели густейшие шторы оливковых, темных оттенков; а кресла нахмурились новым атласом; такие же точно обои глядели со стен; был повешен тусклейший зеленый фонарь, освещавший все это рассеянным светом; нарядно, но—пасмурно; цвет надоел: я грустил о пунцовых обоях, о прежней

обивке; я помнил пунцовый сквозной абажур, с черным клювом, с совиными глазками; отблеск пунцовый дробился в паркетах,— не этот, зеленый и бледный; теперь вот войдут; и—померкнут зелеными лицами; смотрят зелеными лицами; кажется мне: с появленьем оливковых кресел—нахмурилась мамочка: красная сказка предметов померкла в зеленую прозу:—

—Напрасно старался утешить— Иван Николаевич Горожанкин, заведующий ботаническим садом, когда подарил неожиданно он тростники, рододендроны, фикусы, пальмы; обставили нашу квартиру горшками цветов; что же— пальмы хирели с немых подоконников, напоминая: все—бренно; все—войлок и волос!

— Так—да: так и все... Николай же Ирасович— тоже вот: пыль,—так и все!"

— Это—Пфука.

. . . . . .

Гляжу в коридорчик; он—кажется мне подозрительным местом; уж сумерки: сели все крыши в темнейшие ниши; грызунчики-мыши—играют все тише; из коридора опять принялся к нам заглядывать... Пфука:—

—выходит, садится на спинку сутулого стула; когда рассветет,—обернется штанишками он; иль—рубашечкой станет, да, да: эти бесы—одежды; оденутся утром; и снимутся вечером; будут по комнатам бегать они, повисая чехлами и... мертвенной мордою; и я кричу:

— „Афосим“—

—непонятное слово, ключ к тайне, смыкающий жары и шар!

Расширяется жар по ночам, развивается очень отчетливо шар—по утрам: географией Индии, Персии, Скифии; шарик земной—жаровой; жар ночной—шаровой:

— „Афосим!“

Уверяли меня, утешали, что нет „Афосима“, а есть „Афосинья“, „Петрович“, „мужик“; но я знаю: то самое расширение органов тела без кожи, в сплошной неохватности,—не от Петровича, не от Антона (Антонов огонь—это что!); нет, „м у ж и к“ ни при чем:—

— знаю: желоб, которого не одолеешь сто тысячу лет: позвоночник; я полз от червя до гориллы, до... до... расширения шара: моей головы, на которой пытаюсь усесться; и падаю вновь: в допотопное прошлое.

Слышал от папочки:

— „Перевоплощенье, Лизочек,—гипотеза древних, согласно которой мы, так сказать...“

— „Индусы—верили и Пифагор признавал; и я, знаешь ли, так сказать!“—

—Нежно глядел за окно: на персидские краски павлиньих закатов:—

— вселенная, мне подпиравшая пяточки, тут отставлялась; я—жил без подпоры; ударные мнения папы о маму, и мамы о папу

(— „Перевоплощение — вздор!“) —

— превращались в толчки двух свинцовых шаров, быстро пущенных справа и слева по слабому пятилетнему телу: сплошные раздавы!

Я—выдавом бреда был выперт в закожное; и ощущение гибели—крепли: в крушенье устоев—физических, нервных и нравственных; поколебалась „зависимость“ мне в независимость: да—и пустую, и черную.

Этот тычок в „никуда“—преступленье.

. . . . .

Сырой, многокапельный желоб—закапал; и—капает; из желобов слабым треском везде вылетали сосульки; халвели снега, прорыхали; полозья, как ножики, резали прямо до камня; пошли сквозняки в ветрогонные дни; снегопады сырели.

. . . . . .

Так стал независимой переменною я, несогласный с законами папы, что силами тяготения дом не летит вверх тормашками; ночью летаем мы все вверх тормашками, ширясь; закон тяготенья не действует; все разобщается, не тяготея ни к папе, ни к маме (шлепками ее я отшлепнулся прочь).

Началось—разобщение:—

— американец, сидевший над нами, себя ощущал очень крепко, а мы,—разобщенные,—падали крышею дома на пламень созвездия Пса...—

. . . . .

— „Афросим!“

Просыпаюся—

—склянное, синее утро; живые огни—на снегах, как посыпанных битым стеклом—

— просыпаюсь со смутным сознанием:—

—разум не нужен; без правила, грани, вины—ощущаю себя; все же я виноват; во мне крепнет сознанье: „вины без вины“.

Вспоминаю:—

— зачем это папа кричит на меня, когда я с перепугу запутаюсь в мыслях о маме, *которая может проснуться; послушаешь*—ты виноват; не послушаешь—ты виноват:—

—виноват без конца; виноват и один: виноват—до конца, виноват—без причин!..—

—И за все тебе влепится звонкой пощечиной!

Я угождал, проживая в сплошном беззаконьи; выпискивал маленьким ротиком выдумки, чтобы скорей, оторвавшись от этих зловещих миров,—отвертеться от орбиты: кануть—

—в развитие: эдакого какого-то своего—

—моего!—

. . . .

Вот к полудню рисуется вычертень золотоливною струйкой, к полудню взрыхлеет; и все

прослезится; и все—бриллиантово станет, чтоб вечер покрыл закорузлою пленочкой; хряскает ярко-ледяная рдянь под ногами.

А то—моросеей и мягкой мокриной прослякотит улицы слабый февраль; желто-ярый туман прилипает к окошку: а папочка шепчет Дуняше:

— „Вот вам: наша барыня—от нездоровья, от нервов!"

— „Обидно-то как-с!"

— „Потерпите: вот вам".

. . . . . .

И мне нить преступленья ясна: эти нервы—последствия трудных родов; беззаконие я учинил перед мамой, явившись пред нею; и после: вселил я раздор между нею и папой; преступно—самосознание: —

— вечно казаться незнающим! —

— Да: и узнай это папа,—он рухнул бы вниз головой, с кабинетиком: семь же шкафов, ударяя в глухой потолок, проломили б отверстие; папа бы с томиком Софуса Ли, математика шведского, рухнул туда:—

—в свои черные пропасти!

. . . . . .

„Некоторые, которые"—пропасти: сил разобщения; „гвоздь"—беззаконие; я до него дохожу, вылезая ногами: свергать все устои и опрокидывать правила;—

— пфукает Пфука во мне; про-

ходил, приходил: головастой гориллою, скифом (—„Перевоплощение, мой Лизок, так сказать!“); нанялся в родовые, в родные и в скотные, стал— родовым домовым;—

—да!—

—Он, папою в папе отчмокав, зачмокает мною во мне; очевидно: вселенная,— „пфукинство!“

. . . .

— „Э, да жарок появился!“

Кислятится слякоть; все кашляют; кашляю я; ждут Смирнова, домашнего доктора; тельце— горячее: в жилах, в ушах очень явственно: шукает, пфукает; жду я, что Пфука—босой, толстопятый, в исплатанных старых штанах, из дверей коридорных просунет свой войлочный волос; и кажется мне, что зеленый и бабий живот, выпирающий выше штанов, барабанно баранит тупым, глупым пупом.

Звонок: два звонка (и в дверях, и в ушах)!

Это доктор Смирнов; он вбегает ко мне: старичок—желтечки под усами, а—как тараторит!

— „Не говорите“—мотает он лысой головкой— в очках, в золотых:

— „Э, да что! Да-да-да, да-да-да, да-да-да!“

Рубашонка подкинется, и—головою прижмется к горящему тельцу: трубою приткнется; и „т у к и“ своим молоточком проводит по телу:

— „Вздохни-ка... Еще... И еще... И еще: глубже, глубже; так... так... Ага!“

Помотает головкою, перебегая от тумбочки к столику: пишет рецепт; прописав, веселейше прихлопнет в ладоши:

— „А ну-ка, брат: ну те-ка; ты-ка касторки: касторки сперва“,—подопрется рукою с трубою в почтенную талью; другой соберет белый клок бороды, поднесет его к носу; и фыкнет задумчиво в клок бороды:

— „А потом: тут вот-эдак клееночку; и на клееночку, эдакую вот, тряпочку... Вчетверо надо сложить, выжать воду... И ваткою, ваткою сверху... Держать три часа...“

— „А потом?“

— „То же самое делать!...“

Запросишь:

— „Мне кисленького...“

— „Ни-ни-ни, ни-ни-ни, брат: ни-ни, ни-ни-ни...“

Тут обступят Смирнова: и папа, и мамочка.

— „Что?“

Он—заморщится, заморгает и перетрясом головки с „ээ, ээ“ он прокислится желто-лимонной гримасою, вскинув на папу очками:

— „Ээ, форррменный брррончит!..“

И—тотчас же: безо всякого перерыва:

— „А ты-то—что, брат?“ (Он товарищ по классам: как встретятся, так принимаются „тыкаться“):

— „Я—ничего“—тыкнет папочка—„ты-то вот—как?“

Перетыкнувшись, друг перед другом они остановятся; и не умеют сказать ничего, кроме:

— „Ты-ка, брат, ты-ка...“

Смирнов упомянет про Бисмарка:

— „Три волосинки!“

И глазки опустит: мычит и пыхтит (пересказано все: перетыкано; не о чем больше); и хватит ладонью в ладонь, как испуганный, выстрелив возгласом:

— „Ну, брат, прощай: брат,—больные, больные!..“

Схвативши картуз (он ходил в картузе), запахнувшися в шубу, мотая седою бородкой и эдак, и так, как ошпаренный, выскочит он с...:

— „Да-да-да, да-да-да, да-да-да... Не говорите мне: три волосинки, и—все тут... да-да, да-да-да!“

Мне уж легче; и всем как-то легче; естественно: „ф о р р р м е н н ы й б р р р о н х и т!“

— „Да-да... Чтобы кислóго: ни-ни-ни-ни; чтоб клееночку, ваточку, тряпочку“.

Все—исполняется; и говорят про Смирнова:

— „Сергей, вот, Васильевич: все он такой же; и весел, и бодр; холостяк и простяк“.

— „Да, Сергей, вот, Васильевич: он—веселейший, простейший; и—умница; вот за кого бы отдать нашу Дотю: интересовался ведь...“

— „Да, но она—фырк-фырк-фырк!“

Мне приносят капсюли; откроешь,—капсюли какие-то липкие; смотрят глазами, в бумажечках, как от конфет; уже знаю: дотронешься: так и—начинает капсюля: глазами вращать!

Вспоминаю:—

— такие глаза—Докторовской; касторовыми глазами вращает на очень красивого Грота она; и противлюсь: противно; касторовый глаз Докторовской и сладко, и липко мне давит язык; проглотить не могу; и он—лопнул во рту; что тут было!—

— Я принял его, когда папа, ввалившися с новым стишком, сочиненным по этому поводу, мне прокричал его в ухо, пока я капсюли глотал, улыбаясь слезинкам:

Все—напрасно: ах, ужасно!..
Ах, касторовое масло!
Что за слезы? Что за вид?
Все—напрасно! И прекрасно:
Котик—ясно: это масло
Прекращает твой бронхит.

Не напрасно мне папочка пишет стихи: ими он созидает огромную мощь надо мною; он—мощный: таит; я—прочел эту тайну; и с'ел—то, запретное; круглый комочек колотится: яблоком—в горлышке, пучась ночами, ломая мне грани, развитием древа, с вершины которого кушают яблоки.

Пал, как Адам, вызывая догадку у мамы (она—проницательна); вот она входит к больному „развитием“ (входит ко мне); и попробует лобик:

— „Жарок еще есть!“

И на ней—крылорогая шляпа; и—в черной вуали, в своем чернопером боа, в черной кофточке, в черных перчатках, с не очень широким

турнюром проходит в переднюю, осведомляяся, где нафталин: скоро спрячется зимнее; шубы отправятся к Белкину,—на сохраненье от моли.

Мне кажется: мамочка пробует лобик не потому, что—жарок; потому, что растет этот лобик (шарок этот лобик);—

— все то, что является днями, как круглый и твердый шарок, то ночами—жарок; и жарок—от „развития“:—

— Семечко зрелой антоновки, пахнущей папою, бухнет, ломотою лобика: ломит мне лобик, ломает мне лобик двумя роговыми ветвями; вот — кончики веточек—

—рожки—

— прорежутся!

Ах, обнаружится: яблоко—с'едено!

Веточки – прячут; но листик один обнаружен: он—фиговый; вырастет, вырастет фига; и стало быть: дело не в книге, а в фиге (под книгою).

. . . . . .

Дунуло теплою ветренью; снеги промякли; окапалась улица; мокрые стены казались древнее, роднее и меньше; так бросило в слезы Арбат; закрепилось крутой гололедицей; месяц, простой умеркатель, стал ясный мерцатель; тянуло из воздуха мартом; закапали дождики.

Месяц весенний пришел ледорочею рдянью, которая днем—разливанные лужицы, вечером—пленки и пленочки льда и хрупчайшие крылья

стеклянных стрекозок, и висень сосулек; на сухости чаще сыреют темнейшие плеши; и нет уже белого снега, а—желто-коричневый, желто-навозный; бегут в три ручья—в проходные ворота: бумажки, коробочки, вынос песка со дворов.

Наконец, я поправился: и—мы выходим гулять, в первый раз... Где снежок? О, как все изменилось!

Люблю наблюдать подворотни весною:—

—и знаю, откуда что вытечет: с этого дворика будет сочиться чистейшая ясность; из этого—мутная, бурая жижа; сольются: и муть просветлеет, и ясень буреет; а от Гринблата выносятся: семь цветов радуги; если увижу я радужный круг, это—значит: он вытек из дворика, принадлежащего к белому дому, Гринблатову.

Март: да, на улицах ходят в обновках; и барышня в синенькой кофточке ясно колышет своей краснокрылою шляпой, в седой вуалетке, развеявши ранее сроку малиновый зонтик; идет молодой человек в очень желтом пальто, в очень красных перчатках и в новых калошах; да, все—стали куцые: шубы исчезли, хотя под ногами еще шоколадная грязь, примерзая, становится бледною твердостью; розовы щеки; и розовы носики барышень; белые зайки, висящие кверху ногами у входа в мясные, исчезли: висят только серые зайки—глядят окровавленной мордочкой; запахи дыма и гари сменилися запахом тухлых яиц; зеленные

лавчонки воняют капустным листом; продаются моченые яблоки.

В доме счищают замазку; и—грохнуло, затарарыкали: хлопоты топотов, ропоты рокотов громких пролеток, которые медленно тащутся после летучих саней; у извозчиков выгнуты спины; и всюду шлепки: липкой грязи.

А там—самовольный дымок самобежно проходит барашками в небе; и—голос разносчика:

— „Свежие яйца"—

— врывается в форточку...

. . . . . .

Ах, как позорен поступок—мой, собственный: с'есть втихомолку селедочный хвостик: с судка!

— „Где селедочный хвостик?"

— „Дуняша?"

— „Опять!"

— „Безобразие..."

Мама кольцом с бирюзою—бирюзою как шваркнет о столик: и вот—бирюза от кольца отлетела (кольцо будет отдано в чинку к Распопову, мастеру дел золотых,—на Арбат).

— „Генриэтта Мартыновна",—мамочка тут развела свои руки и бросила голову—перед собой: к Генриэтте Мартыновне:

— „Вы, может быть?"

Глазки (пьявки!)—впились; Генриэтта Мартыновна бросила в скатерть салфетку, порозовев еле-еле.

И—в слезы:

— „Nein, nein!“

— „Gott sei dank!“

— „Еще я не дошля до такови!“

И—вышла из комнаты; тут вот во мне что-то екнуло: я то—дошел!—Мне представилась участь моя:—

— Мама быстро ко мне подойдет, и за ручку меня больно дернув, подтянет к себе, отпихнет, помахает руками:

— „Воришка: селедочный хвостик—украл!“

И схвативши гребенку, гребенкою примется кудри отчесывать, чтобы открыть большой лоб; а на лбу-то—направо, налево—растут желвачки, то-есть рожки:

— „Смотрите!“

— „Любуйтесь!“—

— Так ясно представилось мне; между тем: папа, пальцами забарабанил по скатерти:

— „Ты, мой Лизок,—ты напрасно: ай, ай—как же можно... Девица из бедной, лифляндской фамилии,—и... подозренье... Селедочный хвостик!“

Но мамочка, шейку прижавши, и выдавив свой подбородочек—уф:

Пуф-пуф-пуф!

— „Вы—не путайтесь: с'ела ж она двадцать пять мандаринов недавно; вошла я—взялась за мешок с мандаринами: кожа да косточки! Где мандарины? Искала, искала: Дуняшу ругала, ругала; она—и призналась: „Я—скушала“.—„Как,

говорю,—двадцать пять?"—„Да: сначала один; он—понравился; после—другой; так один за другим я и скушала. Вы извините, пожалуйста". Я говорю: „Как же вы не больны?"—„Ничего!" отвечает".

— „Пожалуйста, вы уж не путайте: знаю, о чем говорю..."

Папа руки развел, да как грохнет от хохота:

— „Как, двадцать пять мандаринов?"

— „Ха-ха-ха-ха-ха!"

— „Без холеры?"

— „Могу сказать..."

— „Да!"

— „Удивительно ограниченная натура..."

Забыли они о селедочном хвостике; я—не забыл; и—упал маме в руки.

— „Я... я!"

— „Что такое?"

— „Селедочный хвостик: такой показался мне вкусный!"

— „Так—ты?"

— „И—ни слова?"

— „Тихоня!"

Но папа, вскочивший с салфеткою, бросился прямо ко мне; и в ладони свои защемил мне головку:

— „Ах, как же с!"

— „Селедочный хвостик!"

— „Оставьте ему его хвостик!!"

— „Оставьте селедочный хвостик!!!"

И мама оставила.

. . . . . .

Стал я „тихоней,"—о, если бы знала она, в какой мере!

И так она что-то косилася (чуткая)!

Папа не знает, что быть нам друзьями нельзя: развиваться мы можем без мамы—не с мамой: украдкой; и папа—не знает, что развивания вредны мне; грешные чувства приходят; поэтому я развиваться люблю, понимая, что яркая бабочка крылья свои развернула из кокона; из зоологии Бэра читал это папа, который читал для себя одну книжку: наглядного обучения; и научившись наглядно учить, обучает наглядно меня: зоология Бэра у нас появилась; вот он пригрохочет, почешет себе под губою изогнутым пальцем; и—воздух вбирая сквозь зубы, как сладкий сироп, указует рукой на картинку гигантского дуба; и—станет румяным проказником: голову выгнул, и смотрит, поставив два пальца под стекла огромных очков: и—ноздрит, и—сопит:—

— а на срубе гигантского дуба—площадка; мужчины и дамы танцуют на срубе...

— „Ти-ти"—ковырнет носом в воздухе—„ти: вот-вот-вот!"

— „А, скажите, пожалуйста!"

— „Дерево!"

— „Американское!"

— „Вот так уж дерево!"

Перевернувши страницу, подпрыгнет на стуле, разводит ладонями в воздухе:

— „Вот, братец мой,—так скандал: цепкохвостая, знаешь ли ты, обезьяна"—играет словами он.

— „Ну—повтори".

Повторю:

— „Цепкохвостая!"

Нос, как лягушка, запрыгает:

— „Каменный это баран: он бросается, шельма, с откосов, себе на рога".

Переполнен зверями рот папы (и я—озверючился); весь он—зернильня; головка моя—острый клювик; она—наклевалась зерном, зерном знания; мама из спальни кричит:

— „Вот!"

— „Сюда!"

Она—знает, что это развитие—„п ф у к а"; оно—родовое, домашнее, скотное; ходит по жилам моим; буду — „п ф у к о ю" я; буду днями, надевши очки, вычислять, а ночами—топорщиться, ширяться; буду—„м у ж и к"—толстопятый, косматый—показывать бабий зеленый живот, выпирающий выше штанов, и косматые ребра, где еле намечены две безобразных отвислины; буду ходить в таком виде к... Дуняше, выслушивая от Дуняши упреки, что ей очень стыдно... с таким мужиком.

Знаю, знаю: „селедочный хвостик"—начало конца; будет более важное—хвост „белорыбицы" от Генералова!

Будочник схватит; меня—приведут:

— „Посмотрите: с хвостом!"

Папа хмуро уставится, чтобы—дойти до „гвоздя": до меня!

— „Ну, а этого негодяя, Лизочек, мы..."

Изгнан!

И—„р а й" водворится меж папой и мамой: пойдут в исправительном доме, пойдут выколачивать медной, ременною пряжкой „с в о е" из меня.

Когда мама дирала за кудри, одной стороной я молился за „грешницу"; ну, а другою я ведал: права-то—она, что дирала за грех первородный, за „п ф у к у"; и—ночь приходила: со связкою ржавых ключей босоногий—„топ-топ" по квартире: завозится: нюхает, перебирает, ворочает, вдруг начиная чесаться ногою за ухом; и слышу я топот старичьей ноги, ударяющей в пол; и—зачмоки слюнявой губы, деловито вцепившейся в шерсть: щелкать блох у хвоста; и босыми ножонками топою в прошлое; ах,—там все огненно: вспыхнут два глаза, как свечки; я—бе́зымень схваченный: в диких прыжках—по годам, по векам, и по желобу: лезем, не взлезем:—

—а желоб—мой рост; я—на желобе, дрыгая свешенной ножкою, явно превысивши грани—с тычка (математики)—

—падаю!..

— „Котик, Котеночек мой, Котосеночек мой: что с тобой? Что ты, маленький? Мы это: папа и мама..."

А папа в халате—косматый (раскрытая грудь—волосатая):

— „Ты, братец мой, что же: ты эдак-то вот развиваешься?“

И—шлепикам прошмякал назад, в свою комнату; слышу—ворочается; и чихает: не спится ему; чифучирит он спичкою, тыкаясь в томики Софуса Ли, математика шведского; прежде, когда две постели стояли там рядом—он спал, не читал, все боясь спугнуть мамин сон, очень чуткий; теперь кабинет превратился в гостиную, спальная комната обращена в кабинетик; там возится он, чифучиря, чихая и пфукая; серые бесы заходят туда; знаю: серые бесы—бельё.

. . . . . .

Кучевые туманы, серея, завесят и небо и землю; и время, испуганный заяц, прижав свои уши, бежит в зажелтевшую мразь.

. . . . . .

Удивителен я: одевают—в шелка, в кружева; и кокетливо вьются темнейшие кудри на плечи; и лоб закрывают—до будущей лысины;—

—Я—

—точно девочка.

Кудри откинуты:—

—лоб изменяет меня; ротик—чуть-чуть увеличен; он—дернется полуулыбкой, лукавой, двусмысленной, а из бессонных глазенок, прищуренных, севших в круги, отемневших, огромнейших орбит проступит глазищами—

—празелень:

страшная!—

—Локоны, платьице, банты — личина: оранг-утанг приседает за ней!

. . . . . .

Поскорее ему котелок,
Поскорее ему сюртучок
И суконные тонные брючки:
Засовывать ручки!

. . . . . .

ВЕСНА

И все знают:—

—под розовым домом, где белые девы на каменных прочных затылках достойно держали карниз, изгибая свой торс, уходящий в плющи (под пупком) и таинственно превращенный в подставку для торса из белого камня, слагающего расширенье колонки, меж окнами, где над стеклом, из овала, показывал круглую рожицу баранорогий насмешник—

—тот дом разломали давно; в этом месте восстала громада из камня—

—все знают:—

—под розовым домом, где девы держали карниз,—очень хлюпает; белый пузырчатый гребень у голого камешка—точно сквозные, лучистые бусы: надуется множеством ясных пузыриков, лопнет; надуются новые; пена слюняво бежит от него, грохоча в водосток; ах, везде—выписной водотек;

с подворотни до тумбы; мальчишки бросают бумажный кораблик в кудрявые гребни; нахляпаны кучи расколотой талости; все—перепачканы; всюду—веселый „ч и р и к" воробьев; кто-то, весь перепачкан, бежит в котелке шоколадного цвета, промятом и косо надетом, в пальто, обвисающем старой мухрою и не скрывающем фалд сюртука, задевая подмахом руки,—не узнал бегуна: это—папочка, нас не заметивший;—

—еще вчера котелок бледносерого цвета я видел на нем (его, черный,—потерян); держал он крюкастую ручку развисшего зонтика; нынче на нем котелок—шоколадный; и зонтик—бескрюкий, подвернутый, новенький.

Март веселеет Арбатом, но слаще на Кисловке; розовый кисловский дом, как конфетка от Фельша; блестят веселее жестянки в окне Реттерé (кофе „м о к к о"): седеет мосье Реттере; мы заходим в лавчонку напротив: поздней был здесь выставень рамок и пышных картин—„Г о р о д Н и ц ц а". Тогда его не было; не было вовсе зеленой „Н а д е ж д ы", которая с восемьдесят седьмого лишь года открылась тетрадками, калькомани, бумагой цветной и другими соблазнами; дамы „Н а д е ж д ы" встречали позднее любезно меня (та, худая, блондинка—не так, а та, полная,—очень); арбатские жители знают „Н а д е ж д у"; и знали „виноторговлю" Попова; но кто помнит „Бурова", кто покупал у него свои палки и зонтики? Домик, где он торговал, деревянный, коричневый,—

временем бурным снесен; вот—дом Нейгарда, дом Патрикеева, дом Старикова—

—откуда—

—колбасами, чаем и фруктами дразнится „Выготчиков“ (после „Когтев“ дразнился отсюда); я жду: он—просунется в дверь: пригласить покупателя,—гордый двубакий, курносый, плешивый; и—в фартуке; щелкает счетами; и—дозирает за „малыми“; ах, как горит самозвучное ухо; тепло разливанное луж остывает окладами холода; огненным остовом кто-то занесся в зеленое небо. Да, март!..

. . . . . .

В марте месяце все восприятия—свежи, легки, музыкальны; и мамочка—тоже: легка, музыкальна; весенняя—

—склонится вздохом над клавишами—

—задумается; улыбнется; и—

—дон-

-дон-

-дон-

-дон!—

—раздается на клавишах.

Согнутым, малым мизинцем подкинулась ручка; и—все пролегчало; и все—просияло; столовая наша отстроена звуком, сработана звуком; открылась для взора:—

—я видел—

— как легкие лилии лейно летели на белых обоях; я слышал, как отзывом полнился желтый буфет, дуботелый, который обычно болдел, будоражился; и—отвечал передрогом на шаг; как стаканные звоны его мелодично ответили звукам; три бюстика высились: Пушкин, Толстой и Тургенев; буфет будоражился: бюстики падали; черным изрезанным деревом высился ящик; он выставил челюсть, закрытую черной губою; губа открывалась в певучее белозубие клавишей; и бронзовели туда и сюда откидные подсвечники; мама садилась играть—

—в васильковой веселенькой кофточке, бросивши в воздухи пальцы и падая пальцем на клавиш: садилась играть то же самое, что она часто играла, чего не могу разобрать, — хорошо или плохо все это:—

—ага!—

—вот оно: что такое? Не знаю, но знаю, что—„это“—

—ага!—

—как раскинулось, как раскидалось могучими звуками, производя беспорядки, согласные все же друг с другом: весь мир перестроен теперь: перестроен и я: не узнать ничего из того,—

—что—

—господствовало над душою моею пред

этим: но мама закроет рояль—

—все забуду, не вспомню: вернется назад с возвращеньем рулад:—

—откидные подсвечники маму осветят горячими свечками; мама закроет губу: черный ящик—пианино; картина Маршана висела над ним уходящими далями (я уходил в эти дали, зажатый тяжелою рамой); легко бронзовели настенники; а над дубовым столом из плодового круга звончайше повесилась склянная лампа сквозным полушарием с тихим бряцаньем на бронзовой цепи; с ореховых крепких багетов сквозили взлетевшими светами слетные шторы; под ними пластались листья расставленных пальм; с подоконников, с окон, из белых плетеных корзин, даже с полу; с угла, к потолку, выходил раскидной рододендрон; а там—деревянная голова часовая шипела часами; под нею чернел, точно негр, удивляя карачками, ломберный сложенный столик; по стенам и окнам равнялися гнутыми спинами стулья с плетеным сиденьем, готовые перелететь как угодно: расставиться эдак и так; и—опять разлететься под стены.

. . . . . .

Открытая дверь уводила в гостиную; все здесь—ивково: стены, обои, гардины, стенные драпри окатель, иль обивка атласная, мебели; общее ечатленье: красиво, но как—безымянно! Все ди тишают; здесь все—безвремéнствует; все сь—безвыходно, безатмосферно, безгласо; все—

бе́зымень; призрак: приставлено к зраку; отставится, будет—непризрачно; но отставлять-то и некуда; призрак—стоит!

И—

—фонарь провисает с лепного плодового круга безгранником, матовой дýтенью; вечером робко исходит утратой блекавого света; стоит между белых дверей, призакрытых оливковым штофом, приземистый, кругловерхий ореховый шкафик: на нем—две богини, две маленьких, алебастровых статуйки, а между ними отчетливо протяжелела желтеющим золотом бронза высокой подставки дарящего свет шестисвечника (он—красовался без свечек), трехного касаяся шкафчика и поднимая желтеющий золотом жертвенник (бронзовый) в виде начала колонки, обвитой гирляндою, где виторогие головы бронзовых, желтых баранов губами сжимали подборы гирлянд; на колонке росла витозлатая ваза, из тела которой мордели уродцы; листвяный металл очень-очень высокого стержня кончался цветистым златастым раздутием, бронзовым выгибом тонкого пятиветья и тонких розеток подсвечников; верх был увенчан шестою розеткой; сплетение прихотливых извивов металла меня занимало;—любил наблюдать канделябр; и любил я оливковый мягкий диван, поднимающий спинку высоко ореховым, резаным краем; четыре ореховых, резаных морды оскалились с краю; меж ними—резьба завитков; посмотрю,—и мне хочется морды куснуть: шоколадного цвета они.

И такого же цвета ореховый, резаный прочный столовой овал, поднимаемый выгибом твердых ореховых вздутий—трех ножек, обвитых гирляндой плодов и касавшихся львинолапой резьбою ковра; на нем плюшево тусклилась скатерть, свисая на ножки бахромкой и длинным оборвышем; да, я смотрел—в пестрину этой скатерти, перецветающей черным рыжеющим фоном, где три пестрых цвета вились вперегонку один за другим на спиральках, слагающих цветоподобный орнамент—оранжевый, рыжий и желтый, нарушенный изредка здесь синеглазкою, там—красноглазом, но в общем являя вид—тигровый; перетертый ковер, тоже тигровый, точно таких сочетаний, пластался под столиком, под четырьмя приседавшими, очень разлапыми креслами;—жест их являл мне достойный пугающий вид четырех поприсевших на корточки профессоров, на колени поставивших руки; четыре декана присели на корточки здесь: заседать; и их резчик изрезал; и лаком покрыл полировщик; обил им колени атласом безжалостный мебельщик: стали четыре декана—присевшими креслами! И приходящие гости садились на них: сочиняли свои беспокои из слов, свою борзопись бестолкового слова; здесь дамы садились бобынями; и—перелистывали альбомы под абажуром, атласным, оливковым, с блондами; здесь через шелесты юбок и щебеты ротиков мне поднесется пробасина грубого голоса; все кружевеет; и веет—духами;—

—у дам наблюдал я особый, немой разговор, обращенный друг к другу; и—состоящий из жестов; они сообщают друг другу какие-то сведенья, мне и мужчинам весьма непонятные; дама бывало воскликнет на даму:

— „Какая вы бледная!"

Дама—смолчит, но головкой протянется к даме и бровки поднимет: кистями обеих поставленных друг перед дружкою ручек укажет на низ живота, чуть-чуть выпятив губку; другая тотчас догадается, еле кивнув; и меняет скорей разговор, получив раз'яснение.

Мне раз'яснения—нет!..—

— Наблюдаю в углу я трехногую горку: безбокая горка! На ней расставляется белоголовица куколок; это—фарфор: пастушонок, пастушка в соломенной шляпе, в фарфоровой, в розовой юбочке, серая моська; и—италианец раскрашенный (яркокоричневый и с окари́ной в руках) и какая-то малая берендейка-игрушечка; и безголовый китаец;—

—и многое множество очень занятных вещей безвреме́нствует здесь; много кресел, гардин, брокатели на мебелях; все так красиво, но все так безвыходно, безатмосферно, безгласо; все — бе́зымень, призрак: приставлено к зраку; отставится—звуками; звуки влетят, перестроивши все и настроивши новое.

. . . . . .

„Мрмля"—раздается здесь!

„Мрмля“—

—очень сложный аккорд:—

—он расплаканным, мокрым кисляем ложится на клавиши; и септаккордами и нонаккордами водится: черная косточка—„ге“; „д л я-д л я-д л я“ есть трезвучие; „мрмля“—

— очень сложный аккорд: раскричится, как... Альмочка; нет, громче Альмочки: разговаривает, как... мама:—

— все дрогнуло, все замигало мне в душу; подсвечники задребезжали кружочками; стены подтянуты, выросли; точно расширены в высь потолков; углубились и до-нельзя стали прозрачны—

— уже на колесиках к креслу покатится через гостиную кресло; на цыпочках, вдруг пролетев и возвысясь от грянувших звуков,—стоит!

Образуется в музыке что-то безгранное; бабушка, я, тетя Дотя, Дуняша,—поймем; папа—нет: вот он выйдет поревывать в звуки; и петь об'яснения, вставивши грань:

— „Да, Лизочек: конечно же... Музыка есть математика, не приведенная к ясности...“

— „Лейбниц еще говорил“—попытается вспыхнуть зеленою искрой, как мамины гранные серьги.

— „Вот тут помогает весьма рациональная ясность французских мыслителей“—снова пытается вспыхнуть он красною ясностью; вспыхнет не он, опять-таки вспыхнули серьги.

— „Туман! Это немцы туман напускают!“

Но ясность французских мыслителей лопнет под звуками Шумана; не понимает он музыки; и—называет все то, что там скачет по клавишам—шумом: не Шуманом; скачет не шум, а—

— веселенький пансиончик из маленьких девочек; все—в пелеринках, и т р а-л я-л я-л я:—

— побежали подкидисто девочки всем пансиончиком: быстро состроились в пары; подкидисто, быстро прошли в коридор:—

— коридорная дверь затворилась: закрыто пианино: погасли подсвечники...

СПУТНИК

Бежали минуты, как девочки по коридорчику: вечным своим пансиончиком; двигалась стрелка часов оттого, что бежали они; в воскресенье, поднявшись, кряхтя, на давно раскачавшийся стул, сопровождаемый возгласом:

— „Эдак проломите стуло“—

— мне папа устраивал время, закручивая часовую пружину; и—

—трр—

—трр—

—трр—

— повороты хрипели, закручивая: понедельники, вторники,

среды: и — „трр-трр-трр" — до субботы: включительно!

Новая неделя затикала!

. . . . .

Дни выпадали рябые: то—солнце, то—тень; то снежок, а то—дождик; снега растворялись; и я проходил по мутнеющим днем шоколадными лужами, говором шамкнувших снегом лопат и веселою брызнью извозчиков; вечером март был—сияющим мартом; устраивал хрясты ледянистых ракушек; ножкою я наступаю на ракушку лужицы: и—заметаются быстро под ракушкой темные пятна; и—в лужицу ножка уйдет. К Севастьянову жаворонки прилетели; от Севастьянова—к нам прилетели: румяно и сдобно; изюминки-глазки люблю выковыривать им; и озакусывать вкусно головкой: с'едобно и сдобно — совсем бесподобно; покушаешь—после поднимется к горлышку „ик"!

Пролетела неделя: и папа—заводит иную, апрельскую:—

— юной весной сковыряли замазку; и—юной весной мы просунулись в грохоты; образовались сухи́ничи там, где грязнели окляклые мягкости; пышечник ходит по дворику; слышны его прибаутки:

— „Мальчишки, принес я вам пышки: тащите ко мне пятачишки!"

Разносчик орет горлодером „купить-продавать"; прыкает грохотно водовозная бочка: и ме- с обивкой линючего цвета поставили: бьют

выбивалкою; хлопают громко ковры меж двумя полотерами; жизнь на дворе занимает меня! Дубоносая дылда, Антон, растопырился вон не в тулупе, а в розовом ситце; торопится: сквернословит в пространство; торопится за белокурою курицей красный петух; ухватившись за шейные перья своим щипким клювом, он перую спину намнет ей пернатыми шпорами ног, прокачавшись совсем кровяным гребешечком.

У нас—изменения: в воздухе носятся желтые моли; в передней две папиных шляпы—коричневая (чужая) и серая (то же). А папа взлезает на стул; и—заводится третья неделя; он есть времявод: коновод! Удивительный!

. . . . . .

— Скрипен и прост, но он—скрытен: скрипит и спешит на весь дом, суетою вертясь среди нас, нарушая порядок: беспомощным зовом к порядку; нет, он не хитер, но... какую-то тайну вложили в него: запечатанный, склепанный он, как бочонок, который, прегрохотно сброшенный с лестницы, может в своем проверженьи давнуть очень больно, перескочивши чрез встречное, чтобы, упавши, подпрыгнуть и кракнуть расколотым деревом.

Неотвратимы мгновенные выбеги с карандашиком в гущи домашних забот, молниеносно по-своему понятых (и не с того вовсе боку); и тотчас решенных не в том направлении: папа—короткий, дубовый бочонок, затрахавши, выпукло бросится лбом крепче крепких кокосов; и выдохнув запахи

войлока жесткой щетиной, прокатится с очень спешащими глазками в замысел ваш из очков, поднимаемых пальцами, от которых несет сургучом, с раскричавшимся как-то визгливо, по-бабьи, и как-то навязчиво, ртом—весь косматый, безбровый:

— „Да что вы?"

— „Позвольте же!.."

— „Да, не так это вы..."

— „Как же можно?"

— „Вот эдак..."

Откатитесь: передвигаемый стол очень бодро пройдется не в том направленьи на медных колесиках, трахнувши в бедра Дуняши ореховым краем:

— „Ой, барин!"

Отбацав свое косолапое дело на белой стене, где лиются легчайшие лилии, и отнесясь, как дубовый бочонок под желтый буфет, он наткнется; и деревянные массы ответят в сквозном передроге стаканными звонами.

— „Ах: все напутали!"

— „Шли бы вы прочь!"

Папа, павши, подпрыгнет и кракнет, распавшись на брусья—беспомощно, перебегая испуганно переглядными глазками:

— „Ах-с, в самом деле-с..."—

— вы ждете: в бочонке закупорен слепок пролипших сельдей, или гроздики винограда, осыпанные отрубями; а выпадет:—

— мягкий малиновый выливень милых муслинов, прекрасных муаров и ярких пожаров арабской материи; вы—удивляетесь:—

— вылеты в гущу забот направляемы нормой практической философии стоиков, которая—в диогеновой бочке; ее заклепали в дубовые формы и в широчайший пиджак, надуваемый суетой попыхов:—

— и горошиком прыгают пальцы; из-под жилета покажется хлястик сорочки:

— „Да вы подтянитесь!“

Подтянется; и—обнаружится прежнее: хлястик сорочки; так прямо отступит он хлястиком в свой кабинетик от гущи забот: в беззаботицу... интегрального исчисления...—

— Да, в диогеновой бочке сидит „содержание“: солнечным танцем и солнечным рдянцем; и бочка грохочет, а Диоген в ней невидим; из кракнувшей бочки он выпрыгнет вдруг с фонарем; и забегает в переполохе нежнейшими глазками:

— „Где человек?“

Глазки кажутся малыми жуликоватыми мышками; грохотно раздастся из гущи лишь „урч“ [1]) повседневности: так вот в животике:—

— сверху аухает тоненьким плачем:

---

[1]) Заимствую слово у А. М. Ремизова.

— „Ааа-ууу!“ Этажом же пониже, как уркнет; и „у р ч“ перекатом пойдет: сверху донизу: справа налево!..—

— Уж пучится прочно за облаком облако; в пучень немых дымоглавий прокатятся в мае громовые тучи; блестят обливные зеленые крыши; и—вот самолетный пушок подвился; громобойная улица охает; знаю: стрельнет очень скоро в окне легколетная ласточка...

. . . . . .

Папа проходит украдкой, на цыпочках, горбясь без ропота от неудобств, им несомых, весь в шуточках, детских и блещенских; он—изгонялся из комнат; стараясь быть равным (профессор—с профессором, с дворником—дворник), он низился на полукорточки перед носом; и оттого-то все „цыпочки“ мерили папочку сверху с надменством:

— „Он—ниже!“

И папа подпрыгивал тут, шибанувши,—нахала, профессора, пшюта, министра! Не поняли этих эзоповых выступлений в домашнюю жизнь: бичевать предрассудки стоическим смыслом, слагавшимся от сокращения знаменателя и числителя дроби забот, и являющего новый с п о с о б, как например:—с п о с о б чистки картошки:—

— „Во-первых“—сгибает мизинец, долбёжит, подбрасывая слова перочинным ножом с очень громким прошарком—„картофель, да-с, да-с, очень трудно же было, поверьте, перевести в Старый Свет...“

— „Во-вторых“—загибает с поклоном второй, безымянный он палец—„его очень трудно-с, вы знаете, было ввести среди нас!“

— „В-третьих“—сломит зачем-то большой, ногтеватый свой палец, оставшися с третьим и указательным; и приподнявши двуперстно над кухонным чадом рукой, как раскольничий поп, Пустосвят, он проходит громами по кухоньке...

— „В-третьих же: надо пройти от кремневого века к железному, чтобы дойти до ножа, Афросинья; соединенье ножа в деле чистки картофеля есть, Афросинья, итог, интеграция очень сложных вопросов культуры“—

— пойдут тут „а х & х и“, пойдут тут „а х б х и“; и вся многопарная кухня ударится в слух: Афросинья, Дуняша и я—

— втихомолку тащу я свирепую редьку: свирепая редька!—

— А из заслонки огонь побежит гребешками; и треснет полено; дымком замутилось оно и слюной заплевалось; и шипно запела, кружась, световая неясность; везде на полу разбросали подсолнухи: значит сидел тут Антон; и Дуняшу обхватывал; были тут фырки и брыки; сидела поодаль на стуле знакомая баба,—бабнб; это толстое очень бабно называли нахалкой (похабная бабица!); знаю: бахалда-нахалка бахорила сочные чмоклости; да, и она разевала теперь желтый рот; и сидела грудасто,

и прела мордасто, распучив бебеху; засалилась желтыми лосками.—

— Папа, не видя насмешек, матâсился над Афросиньею и алалуил свое:

— „Чистка этих картофельных клубней есть, так сказать, интеграция действий; а вы—не так чистите...“

— „Ай-ай-ай-ай: разве можно так чистить?“—стремительно (действия папы стремительны) вырвав каурый клубыш из руки Афросиньи, давнув между пальцами, так что, подброшенный в воздух, картофель упал, подобрал его с полу, расставил он ноги; и... и...—

— по всем правилам очинения карандашика, сам он зачистил:

— „Так-так вот... Не от себя, а к себе...“

— „Барин!“

— „Я говорю вам: очинивают карандашик, картофель,—вот так: таким способом“—грудь, как меха, выдувала огонь из ноздрей.

— „Барин!“

— „Да-с: есть свой способ на все...“

Я подметил, как баба стащила моркву; папа вышел из кухни; и все заказâкало, все загагакало: дружный г а г â к доносился; а папа перипатетиком громко, дубасо шагал в коридор, ропоча, что м е т о д а очинки картофеля—да: рациональная-с!

. . . . . .

— „Где человек?“—восклицал Диоген.

Отвечало пространство: потупленным „иком“.

Явись Диоген среди мраморной курии Юлия (папы), Моро, или Эсте, среди Леонардо-да-Винчи, расшитого, подвитого и в огненной тунике, женоподобного Рафаэля, Лоренцо, иль Валле, иль Поджио,—произошел ли скандал в благородном семействе столетия; и разразились бы хохотом, как разражалися смехом на выходы папочки, хлястиком вверх, в ритуалы домашних забот.

Папа не был в пятнадцатом веке; поэтому был он грубее, как... грек; но он был здоровее; не с нежной жестокостью Борджио, с грубой, аттической солью невинно выплясывал он на паркетах свои „козловаки": один „козловак" удавался особенно—с „музыкой"; думаю: папа, шутник, это зрелище строил нарочно, чтоб нас позабавить (он—скрытен); разыгрывал зрелище он, как по нотам: бывало я вижу:—

—в столовой над шахматным ящиком, чавкает чаем, передвигая слова, как фигуры над шахматным ящиком,—очень скуластый, мордастый, скорей коротышка, но: прыткий и кидкий; он кракает крепким крахмалом, перегромыхивая словами, как пешками в шахматном ящике; мама люлюкает звуками над белозубием клавишей; папа мешает—словами и „чавчами"...

— „Вы, Михаил Васильич, не слышите музыки: слышите шум? Ну—признайтеся"...

— „Нет: отчего ж!.."

Он слышит—военные марши; и—Глинку; порой буравéчит себе он под нос дергачи козлодером;

и слышатся бу́рды ему вместо Шумана; вместо Бетховена просто—„бехтенье“ какое-то там; но с задором *поднявшися, он тарарахает:*

— „Все композиторы бедны мелодией; выдумки нет: я бы—выдумал...“

— „Ну-ка: *попробуйте?*“

— „Что ж, отчего ж?..“ И поднявшись от шахмат (играл он с собою самим), гнется с громким пыхтением на табуретик, весь серенький, выделяясь на черном изысканном лаке пианинной доски; и над ним бронзовеет настенник. Нацелившись пальцем на ноту,—он бацнет: на ноту.

— „Ну, дальше?“

— „Бац, бац!“

— „Ах, чудовищно!“

— „А отчего же с: не плохо!“—и ухнувшим гудом, и бухнувшим дудом бебанит бабоном, бабунит пумпяном: напомнит он звуками то, что порой происходит в желудке, где—

—что-то отдастся упавшим бурчаньем, где „н е к о т о р р р ы е“, которые катятся книзу, напоминают таинственных некоторрр-

-ррр-

-ррр-

-ых!

Папа встанет над ломберным столиком; бьет, точно в спину негроса, покрытого лаком, своим самословьем:—

—таскает везде кабинетик; притащит и—расставляет, как ширмочки.

Нет: он — гвоздебиец; по клавише бить не умеет.—

—А выветрень дыма несется в совсем самоцветные окна; и черная скромница, тень, приседает; покровные дали устали; и стали закатом; и там красноглавая туча—двуглава; и вот, обезглавлена: плисами плющится; веет проносною ночью; и—поднялись: семиноги теней руконожием дней; не отвертимся: всем предстоят разговоры с неделей; „т у к"—чешется лапкою ужас: разводит в передней пахучую псину; из коридора опять многолапо косматые страхи бьют запахами метанов и запахами пептонов.

Хватающий страх побежал с того места, где папа отбацал.

Боюся я папочки: грозен бывает он.

. . . . . .

Демон Сократа, неслышимый Леонардо-да-Винчи, живет в нем; и из него выпрядает тончайшую атмосферу—не выливень мягких муслинов, малиновых плещущих плисов, а содержание—

—жизни духовных существ, обоснованных им же впоследствии в малой брошюрочке „М о н а д о л о г и я", отданной в философический сборник по просьбе покойного Грота; „М о н а д о л о г и ю" он проповедывал в комнатах.—

. . . . . .

Раз он рассказывал сон—пресерьезный.

— „Да, знаете...“

— „Видел я сон“.

— „Прекурьезный!“

Развесистым, широконоздрым лицом он приставился к слову, которое подавал осторожно, как очень пахучее блюдо из яшмовых ягод, стараясь не разронять, но показывая, что — шутит: „Да, знаете, видел я сон—прекурьезный“—повеяло мне ветерочками, веяло мне благодатями.

— „Сон—прекурьезный“—взвинтил он наддернутый нос как-то наискось, снизу и вверх; и—ноздрил добропыхом.

— „Конечно же-с, сны—сны, нда... все-таки есть сны одни, и другие... т а к и е“—сидел, как вдыхающий запахи липы, в блаженном разморе, помахивая под носом, как будто уже мы в Андреях-Наливах, во днях, где озимые ходят наливом.

— „Как будто я вижу во сне, что поставлен Касьяновский, знаете, столик, дубовенький“—произнес он очками.—„А на столе—земляника“—подпрыгнули брови его, и свалились очки, и расставились руки.

— „Со мной—незнакомец с таким симпатичным“—раз'ехался он доброщеким лицом—„симпатичным и честным лицом; и мы—кушаем ягоды“.

— „Я принимаюсь ему излагать очень спешно основы „М о н а д о л о г и и“,—вовсе не лейбницевой, а моей: пункт за пунктом“—откинулся он, посмотрев на багет, и сидел в большой нежности—

так: ни с того, ни с сего; и—сконфузился словом.

— „А незнакомец, взяв ягоду, выслушал очень внимательно первый мой пункт о монадах. „Да, знаете,—мне говорит, улыбаясь:—я с вами, Михаил Васильич, согласен: вот именно, именно; определение вами монады и просто, и точно, и—главное: передает суть вещей".—Перешаркнул ногами под скатерью папочка, голову низко склонив, представляя нам жест незнакомца; сидел и дышал... Да и дернулся весь через стол карандашиком:

— „Я ему—пунктик второй!"

Оборвался в изморе и нежности; и—весь откинулся.

— „Он мне и тут: „Я согласен: вот именно!"

— „Вдруг понимаю я тут"—почесался—„э, э, да я где-то уж видел сообразительного молодого философа"—и растаращился глазом от... страха, хотя и старался прикрикнуть всем видом своим. „Ничего-с, ничего-с, успокойтесь, Михаил Васильевич!"

— „Э, э! Эти кудри, бородка—э, э... Ти-ти-ти... Да ведь это... Христос?.. Вот так штука!"

— „И я ему пунктик за пунктиком. Я ему!"

Встал, протянув свою руку.

— „Он—встал. Он—сказал: „Да, я с вами согласен!"

„Тогда я ему"—тут задетился папочка, косолапый и щурый от нежности:—„Мне ужасно

приятно, что вы, так сказать, Мировая Монада—Центральная, знаете ли",—наддавил он—„и высших порядков по отношению к нашему, что, так сказать, принимаете..."

— „Поцеловались мы с ним!"

— „Я ему говорю"—щелкнул пальцами—„я—говорю: только, знаете „Отче" вот „Наш" — безусловно монадологично, не спорю, а—все же"—принялся курносо над пальцами загибать точку зрения—„следовало бы, во-первых, слова „Отче наш" заменить выражением"—и на минуту задумался, и забасил вдруг восторженно:

— „Так например: „О"—басил он—„Источник Чистейшего Совершенства".

Остановился.

— „Иль так например: „О"—опять забасил—„Абсолют, так сказать..."

Вдруг совсем удивился—до крайних пределов, почти... до досады.

— „А он мне на это: „Да: вы бы, Михаил Васильич,—без т а к с к а з а т ь: „О, А б с о л ю т", а не „т а к с к а з а т ь, о Абсолют!" Я ему: „Да помилуйте, что вы, да разве..." А он"—удивление, боль и досада теперь написались над папиным носом, под папиным носом—„А он..."

— „Он, представьте—исчез!"

И свирепо развел он ладонями.

— „Вот так история!"

Гулко пошел разводить дуботолы ногами по плитам паркета; и мне показалось, что тетя—

живеет, бабуся—белявица, мама—совсем ароматница; зааананасились духом мы все; а в открытые окна прошел ветерок от Небесной империи, где возложили китайские канфы; так небо накрыло нас всех головою своею; наверное, папа,—крещеный китаец!

. . . . . .

— „Лизочек теперь веселится у Усовых: я, вот,—куда уж: такая несчастная, жить я хочу; а нет жизни"—бывало печалится тетя.

А папа на это выходит таким лоборогом, подкидывая тупоносые ноги, не подгибая колени, засучивши руки за спину: не клонится ухом, но слушает духом, закрывши глаза и стараясь попасть нога в ногу.

— „Да полноте вы, Евдокия Егоровна!"—

—и начинает теперь из него погрохатывать: выливнем слов, выдыхаемых; грохало свежестью света; срывалося ясным разглядом; и—зажигало закаты; везде по столовой кидались блестянники; грохало в нем, прорезаяся в черточках всей несуразной его головы, как-то косо сидящей, малиновеющей как-то не цветуще устами; лазоревым взором выхватывал он из себя уверения в том, что достоинство—да!—

—человека—огромно, что...

— „Знаете, Евдокия Егоровна, вы ведь—вселенная: пересеченье монад; а монада есть мир!"

— „Что вы плачетесь?"

— „Э, да смотрите бодрее: ходите с высоко приподнятым лбом!“

И заходит с высоко приподнятым лбом, белорозовый весь, белосветый, на толстых ногах,— по годинам, заглядывать в смежную комнату, точно в грядущую эру, где—

—да!—

—Евдокия Егоровна, знаете ли, наконец обретет вновь уверенность: перенести свою долю!

И раскидавшись ладонями, он собирал в доброемное лоно сырой материал переплаканных слов, превращая его, как господь, в бирюзовые ливни, в перловые ясности; точно какой синеокий, бывало, прийдет к нему в очи; и—духом исходит на нас: на паркеты квартиры, напоминая Сократа, пред ядом; и припадает всем корпусом к стулу; и— шепчутся: бабушка с тетечкой:

— „Вот—человек!“

— „Золотой!“

— „Бриллиантовый!!“

Видим: со срезанных тучек слепительно брызнули светом: края, ободa; вот уже—напурпурились, запепелели, намеркли; стеклянное небо, превысясь, вошло в безнебесие; снизу ярчела полоска: китайского шелка...

. . . . . .

Мне ведомо: „с и л ы“, в нем жившие, после паденья с великого в грохот смешного, невидимо крылись пальмами света; и—„р а й“ поднимался:

густой атмосферой; гласила и мама; с огромной серьезностью:

— „Да, Михаил вот Васильевич...

— „Что?"

— „Да он—„с и л а"...

Так в слабой потусклости кабинетика, серозеленого, серо-кофейного с прорезью ярко-оранжевых бликов (от лампы) таилася мощная гамма персидских пестрот, выгрохатывающая гласом Духова дня.

Да, вот такою мне чуялась „с и л а", лучимая им; и—да: „н е к о т о р ы е"—пенаты: меня проницают; квартира пронизана ими; струят стены—ток; этажерки, столы, кресла, стулья стоят в неподвижной грозе,—заряженные; если бы знал „электричество", то я сказал бы, что лейденской банкою папа поставлен средь комнат: о, о! Не касайтеся шарика банки: укусит! О, о! Не дразните: стрельнет он иглой (шаровая поверхность его головы походила на шарик от лейденской банки); и г в о з д и летали; и воздух квартиры, каким его помню,—„гвоздиный";—

— широкоплечий, короткий мой папочка был, как... большая чернильная банка...

„Н е к о т о р ы е" (элогимы!) сидели глубоко и молча; столкнувшися с подлостью, грохали „бацом"; и взрявкивал, как... на Делянова, на министра, в гостинице, в номерочке, куда он сложил чемодан по приезде своем в Петербург, где унизили папочку коридорные слуги, которым казался он жалким (он с ними шутил),—до минуты, как подали

карточку в маленький номер: министр просвещенья приехал с визитом; и папа подшаркнул министру; и подал приветливо руку ему; чрез секунду уже он заерзал на стуле и, полусдернув настольную скатерть, вдруг ерзнувшей в воздух рукой,—он упал на Делянова „б а ц а м и“;

— „Как же вы, батюшка?“

— „Эээ?“

— „Э!“

— „Оставьте!“

— „Да полноте; полноте!“

— „Да уж куда тут!“

— „Эхма!“

А как отбыл министр в министерской карете, пред папой все—в вытяжку!

Папа кричал: на студентов, доцентов, профессорш, профессоров, литераторов, болтунов, либералов, министров; и в „с ф е р а х“ его уважали:—

—я „сфе-ы“ себе представлял „к о с м о с ф е р а м и“, не твердевшими в шарики: шарик земной—отвер-ье такое—

—его сослуживцы и робкие жатели (уважаемые и „ж а е м ы е“) после туда про-ли: в министры; а он оставался „д е к а н о м“, тя как угодно колесами,—

—(о которых я думал, это колеса... какие-то... Iезекиилевы)—

—факуль-

—Да, да: в „к о с м о с ф е р ы“ его не пускали, боясь, что завертит по-своему он „к о с м о с ф е р ы“ такие,—

—так точно, как вертят скрипучею ручкой кофейницы, или как вертят хрипучей шарманкой, взгрустнувшей Травиатой—

—представилось:—

—верно, он в форменном фраке заводит тягучие арии: в университете, на дворике, прямо под окнами Марьи Васильевны Павловой, ей приподняв котелок:—

—и ему из окошка она, прямо под ноги, бросит медяшку, ее завернувши в бумажку: там папа „в с е м“ вертит!

Но „с ф е р ы“ не любят, чтоб ими вертели; они не даются; а папа вдали проживает от „сфер“:—

—наконец представление „с ф е р ы“ окрепло: оно—

—полый шар, изнутри освещаемый светом; туда пропускают невидимый дух—из кишки; и вот—дутая „с ф е р а“; попасть в нее можно: для этого надо протечь из кишки, превратиться в „о т с у т с т в и е“ (там все—„о т с у т с т в и е“); папа п р и с у т с т в о в а л всюду; и в „с ф е р у“ пошел бы просунутым хлястиком, не подтянувшись и выпятив прочный живот: все бы лопнуло, так, как пузырь, световою блеснув оболочкой... из мыла;—

—для папы

такие надутые „с ф е р ы“—пузырики: он надувал их из мыла, забавя меня; выдувал до меня: выдувал из огня; и смотрел, как летают; и тыкал в них пальцем; иные из них отвердели; и—да: на одной мы живем (земной шарик есть „с ф е р а“):—

—и папочка наш, выдувающий шарик—земной, вызывает во мне восхищенье и трепет; он—строит „м и р ы“, опускаясь, где нужно, на них и блуждая там „спутником“ из Андерсеновой сказки, не узнанным теми, кого он проводит до цели,—с огромным зонтом, с котелком, сбитым чьею-то злою рукою на лоб; повстречался он с нами; и нас доведя, он покинет, махнувши прощально рукою по воздуху:—

—нас он покинул: прошло восемнадцать уж лет, как ушел он себе: в световые свои космосферы!—

—я знаю: в веках переряжен он многое множество раз; посетил Авраама; откланялся: нет его! Но Авраам исполняет завет, потому что он знает: появится папа: и—спросит отчет:—

— и боюсь я: худыми поступками явно желтеет моя малокровная жизнь: мышьяковая зелень в глазах, под глазами!—

—он после уже, не замечен никем, проживал на квартире, в Содоме; и так же, как мы, содомляне глумились: он — тихо, покорно сносил:—

—(„Михаил наш Васильич—да, да: человек без характера; он—кипяток, он—горячка, но—тряпка какая-то“)!—

—Мама не знает, в чем „с и л а“: я—знаю:—

—и держит сокрытая „с и л а“ меня.

. . . . . .

Знаю: я заключил с ним завет; на Синае, коленях своих, передал содержанье двух книжечек (малой зеленой и малой лиловой: то—Ветхий и Новый Завет); если я, уподобясь евреям, заветы нарушу, последовав зову кричащей мне мамочки (—„Котик, сюда: не смей слушать отца!“), если я убегу за альков сотворять с ней тельцов из конфетинок, ленточек, бантиков, пряжечек и эластичного, китова уса, корсетного, буду потом я охвачен паническим ужасом; будет не „г в о з д ь“, а—почище „г в о з д я“:

Будут громко разбиты скрижали „з а в е т а“!

О, нет, лучше уж быть заушаемым, мамой терзаемым; что ж: христиане терзались; и львы выпускались из клеток; так я: запираемый папой в немой кабинетик, как в клетку,—учусь; он—уходит из клетки; в открытую дверь пролетает рычащая мамочка, львица; но то—испытание; львица—личина, подобие, все-таки: „символ“ пребольно дерется; но „с и л а“ завета—со мною; и с мамою я не иду пировать по-язычески: я отвергаю рукой шоколадинку Крафта, прижавши сухую, немую скрижаль: буду „с и л о ю“ я!..—

—Потому что я видывал „силу“ огня, потому что я слыхивал звуки „гвоздя“; и мне ведома участь Содома!..

. . . . . .

Он снял там квартиру, выказывая смехотворную слабость; чудаковато, рассеянно он вычислял вместе с Лотом, талантливым молодым человеком в очках, проводимым сквозь строй содомлян: к „доцентуре“; и содомляне кричали, как мамочка:

— „Нет, он воняет трухою!“

Но Лота он вывел; и снова вернулся к себе: и бросали в него очень тухлые яйца, воняющие пептонами; он же в открытую форточку выставив „гвоздь“, как зарявкал, устроив мгновенно им Мертвое море; и перебрался он в Грецию, претерпевая невзгоды от очень строптивой квартирной хозяйки, Ксантиппы; там выпивши яд, появился в шестнадцатом веке—заплатанным странником: с тем же огромным зонтом, с котелком, в сюртуке-лапсердаке; стучался под окнами; встреченный, тихо садился за стол, принимался рассказывать так же, как Доте,—„Монадологию“; тут незаметно он путался, видя упавших надеждами; и пересказывал личные впечатленья событий, происходивших при... Кесаре Августе и при Понтийском Пилате; он там, притаясь за обломком, не видимый вовсе Марией, но—видимый Им,—

— от Него непосредственно получил указания, как поступать и что делать,—в тысячелетиях времени;

тут же, пройдя по векам, напрямик, пèререзав большую дорогу, явился звониться: к нам в комнаты,—с очень набитым портфелем, набитым „Заветами“; ныне—невидимо служит и тайно всем нам образует:—

—он встретился с мамочкой: мамочка, бабушка, тетя и дядя уже голодали, когда растранжирила бабушка „в с е“; двадцать три жениха, как собаки, сидели вокруг, предлагая жениться; но папочка выручил, выведя мамочку под руку и приведя ее в дом Косякова (а женихи разбежались)—

—и мамочка знает: „в с е“ знает; и знает, что папа позволил себя ей ругать, но... до... до...: до „г в о з д я“; до „г в о з д я“ и ругается; и водворяется после „г в о з д я“ величавая строгость и ясность „п р о с т ы х о т н о ш е н и й“: зеркально, хрустально, как в день мироздания!—

—если преступим мы „г в о з д ь“, оборвутся вновь „к р а с н ы е л и в н и“, и—Мертвое, горькое море откроется в комнатах тотчас.

. . . . . .

Вращается веретень дней: в тень теней!

О М

Рай—блестянник.

От веточки разойдется разрывом; звездеет; и—хвост изольет; и кометой прокапают перья; и—фукнется крыльями:—

—райская птица!—

—А то из огней и теней прокипит полосатость; и—рыкнет: то—тигровый зверь, нареченный мной тигром за игры теней и огней, образующие световую его оболочку: „тигру“... Вот—

— древесность поднимется вверх крылопером; в средине надуется Диск, выгибая двукрылие и опадая дождем светорозовых перьев, ему образующих тело:—

Оно разорвется и — — —Разорвется Он грудью
выбьет огромный светящийся гейзер, стрельнувший столбом, как Мечом, в мировое Ничто!—

и выбьет Мечом; пронесется Любовью: Огнем, как Мечом, в мировое —во Все!

—Узнаю, что тот Меч есть—
Архангел; зовут Рафаилом его:
Рафаил
Звук
раз-
ры-
ва!—

— Да, Рай есть блестянник!—

—Деревья, схватились развесистым склянником, ясным сквозным серебрянником в тысячеветвий Светильник, пронизанный золотой теплотой [illegible]нители и красной светлицей; все, что ни есть,

прохватило себя световой канителью; все—нити и бусы; цветы, как фонарики; и не плоды, а шары разрезвилися искрами, играми: тиграми! Издали, где началось Семиречие—пальмовый лес забывает расплавом кораллов (стволами) и движется кронами светоперых пальметт, образующих задышавшее, пестрое, полосатое небо:—

—да, в Персии эти цветные ковры—оплотнение древнего неба: из Персии видели (издали) иллюминацию с Тигра; летающий фейерверк Рая; туда Заратустра, быть может,—порой приглашался!..

В тверданистых лабрадоровых почвах, пьянея, пенеет Евфрат, ударяющий бисером в берег; а Тигр—колобродит: в крутой Лабрадор (где-то издали); над Лабрадоровым комом, приподнятым выше небес, разорвет,—будто трубами: бубнами:

— „О!“

— „Ом!“

— „Мирамма!“

И—повторяется: „Он, мир,—Брама“. И пишется: Махабхарата:—

—я уплотнил в продолжениях жизни моей подымавшийся звук:—

— „Ом-мир-мира-ам-амо!“ — „Неизреченный мир, дивный, — люблю!“

— „Амма-амо-мам-мама!“ — „О, кормилица, люба: ты — матерь материи!“

— „Рам-рама-брам-брама!“— — Герой, посвященный,—как бог!“

—И мы тут распадались на возгласы: и собирался из возгласов возглас ответный:

— „Ol“

— „Ом!“

— „Оммирамма!“

. . . . . .

Мы знали: идет Оммирамма по саду—Невидимый; помнится—

— видим состав из Светильников, скрещенных, бурно взрывающих пламень, в котором он ходит,—

—и пламень, как Куст, полыхается, в выси; отсюда, из Свешников, он разливает перловую бороду (а водопад бороды называется богом); свергаются в горсти подставленных нами ладонок кипящие образования, астры (иль звездочки); астры влагаем мы в бурю светелицы; и канитель собирается в тело: в астральное; так образуем кругом Животы, иль животных; то акт напичания.

Бородяной же Поток есть собрание Светочей, или Начал: Борода, излитая Потоком,—Начала: Времен. Показуется изредка световое двуперстие в Свечниках; и—происшествие странное, странный Состав из Светильников, движется: далее!

. . . . .

Это и было живое прохожее Древо, плодами которого были мы сыты; Коллегия Свечников, или

Начал—Времена; они—круг. Но отпала одна из Светилен, Дикирий,—светильня Состава, заползала палкой подсвечника; выставив свечи, как роги, присвоивши имя *огромного* круга Начал: так явилась Змея—бесконечное Время, начало свое потерявшее; это „начало" осталось в Составе Начал.

Очень скоро Дикирий распался на Дия и Кирия; так появился в раю самозванец, себя именующий Дивным Владыкою: он научил нас отведывать звезды Потока, которые в горле у нас оплотнели, как грешные яблоки: —

— помню, как, бурей меня выметая из рая, неслась канитель золотая, когда-то святая—неслась, облетая: средь почв и земель, близ Тигра, куда я излил все рабочие поты свои: так развел я близ Тигра просторы болотистых местностей с „culex'ом", заражающим малярией меня:—

—ах, спросите, пожалуйста, месопотамца: здоровы ли местности Тигра; почешется он под чалмою, сконфузясь:

— „Не очень, саиб!"

. . . . .

Занимаясь сложением каменных, твердых столбов, из которых сложилось потом Вавилонское наше плененье, не очень-то я...; впрочем: было пока еще сносно:—

—пока патриархи водили, я понял: они суть Отцы от Начал, или „папы"; я

их разгадал: патриарх—переряженный Свечник Состава, завернутыйв ризы: как старый, рождественский Рупрехт, напялит седую, кудластую бороду, солью осыплет ее, чтоб блестела, приставит к Безличию нос (из картона) и, облекаясь в виссоны, торчащие золотыми горбами, как у священника, он выдает свою жизнь лишь концами воздетых светильных огней,—то зубчатой короной, а то бриллиантовой митрой, напоминающей митру вселенского патриарха; и ставит на тумбочку чашу: с заветами, нам об'ясняющими период явленья его;—

—Патриарх открывает период, проводит; потом у порога другого, становится вдруг он „Енохом“: берется на небо, оставив: пустые виссоны, огромную бороду, нос!..

Ныне водит нас папочка; Мафусаил водил прежде; водил Авраам; поведет... кто еще?—

— Так открылося, что патриархи—„Енохи“; Мафусаил был—„Енох“; Мельхиседек—то же самое; то-есть, которое в небо берется живым, облачась при сошествии с неба на землю в почтенные, патриаршие, стариковские—ризы и раки:—

—да, да: „старики“ образуют союз; „старики“ твердо знают, где раки зимуют: зимуют на небе, где все старики, образуя одно „стариковство“—бормочущим рокотом выгромыхивают заветы; и пшамкают святости; слов не расслышишь:—

— но слышишь: сплошную невнятицу, шопотом выговаривающую беззубо:

— „Бфф!“

— „Бфф!“

— „Бэф, бэф, бэф!“—

—в перекатах, где—

—не-ко-то-

-рр-

-рр-

-рр-...

Некоторые, которые!

В папе—„они“; и „они“ есть лишь „он“: электричество, патриаршество, „некоторые, которые...“— в папочке: —

— папочка — тоже Енох: подвязав себе бороду и подвязавши живую лягушку, свой нос, — из-под носа „еношит“: священным заветом! Он—в утреннем, сером халате, обшитом малиновым плисом, с кистями, с малиновым плисом обшитыми рукавами, напоминающими патриаршее одеяние,—вкладывал в грудку мою роковые познания эти; испуганный тем, что в столовую часто врывается мамочка, стал запирать по утрам в кабинете меня и рассказывал походя мне, умываясь и фыркая брызгами, про патриархов, навеки связавших нас с ним, священнодействуя перед краном, стуча зубочисткою в жесть рукомойника, за которым на стенке, я знаю, висел и таинственный „гвоздь“; все деяния папочки напоминали деяния архиерея, в сверкающей митре по середине

сверкающих заиконостасных пространств— над престолом, скалой Лабрадора; „е н о ши л“ он но сом и воздевал рукава над фарфоровой чашею: умывального тазика; и из прищуров, мокреющих, широконосого лика,—гласил:

— „Да вот, Котенька: тут...“

— „Братец мой!“

— „Тут: Авраму явилися странники“, то-есть, опять-таки „п а п ы“...

— „Явились, сказавши: Аврам, будешь ты—Авраам!“

— „Знаешь ли...“

— „И родишь, знаешь ли,—Исаака!“—меня!..

А когда доходило до жертвы, то мы упирались естественно в гущу семейных забот, потому что моею домашней заботою была именно,—жертва: достойно возлечь на огромнейшем камне, чтобы достойно быть закланным: мамою!

. . . . . .

Вижу я сны, будто папа уроком венчает на царство меня; он приходит с дарами познаний, как с чашею, переполненной драгоценным каменьем, парчами и вкусными фруктами; он безглагольно стоит парчевым алтабазом, стоит с ананасом, с апо́ртом, иль гусевым яблоком, даже с антоновкой, духовым яблоком; днеет; и скатится звездочка — светленьким следиком, к утру возложат атласы, китайские канфы; природы, как древний китаец, древнеет проростами; и из Небесной империи веет в окошко лазоревым воздухом.

Вечерами апреля идет голубое раздолье и алые зореньки; тучи—златые; слагаются: в голубо-алое, в голубо-златое, в золото-алое; август—лиловый; июль — серо-сизый, гнетущий жарою; в июне: закат—золотильня, закат—золотарня; Маруся-заря, златобровая, ходит по улицам мира; золотолеею дождики сеет она на Разваню; полезет Дадон, очень толстое облако: бухарит бубнами!.. Грохотко!

. . . . .

Майское утро; пастух, как петух, забехтит на окошко из строгого рога—от каменной тумбы Арбата; сквозь сон я расслышу бехтение: шесты! Колоколец коровы долдóнит; к заставе проходят коровы: краснухи, пеструхи; на улицах очень нелюдко; лишь пустомель дворников гонится метлами.

Сплю...

. . . . . .

Васильковое небо—с коричневым коршуном; коршун от неба на землю сигает—за крышу; захлопотали, расхлопались золотохохлые курицы; коршун—над крышей несется обратно; и слышится папочка, кириелесящий куралесину; носятся желтые моли; а ходим на новых путях: по Пречистенке, Стоженке; тянет сквозь почки ласкательным маем; и видятся дом шоколадного цвета (здесь будет когда-нибудь штаб), дом Ганецкого да колоннада Мариинского института с глухой кавалерственной дамой Чертовой—глухой, а не пиковой;

Кистеров дом; вон военный, оттуда выходит: сам Кистер.

А мы возвращаемся: Левшинским!

. . . . . .

Были мы раз за Москва́-рекой: там за рекой приседает Москва, плотенея домами; там домики обставляют дома; вылезают домовины, каменно виснут домищи; и Кремль разордеется, ставя, под небо Ивана, своей палец в наперстке; золотожарней огромнеет Спас; колокольни, как пасхи; и башни, как... бабы: совсем, как закусочный столик?

Москва!

. . . . . .

По утрам мы украдкой бежим по „Завету", зелененькой книжечке: грехопаденье, потоп, патриархи, Египет, Синай, разделение царства, пророки, цари—позади; прикатилося новое времечко крашеным красным яичком, закусочным столиком, пасхою, чмоком, и говором общим: „Воскресе, воистину!"

И каталажина грохотких, грохлых катанцев— в открытые окна; и то упраздняется бог, у которого—борода; начинается: сын человеческий, прежде меня пострадавший; и тем искупивший; и мне надлежит искупить; кто еще не искуплен?

Да ма́мочка!

Это рассказано папою, вынуто из лиловенькой книжки с калиновым солнышком новозаветного цвета.

О мамочка, ангелица-белица, ты кажешься львицею, уготовляя чистейшую участь: помучить

меня! И я мучаюсь мыслями, стоя под окнами: чист ли, очищен ли;—

—а в васильковое небо змеярочка, змей из бумаги, как дернется, дуги рисуя, протянутой дерюзгой из мочала; но ветер спадает,—

—и—

—дергаясь тарантой, дроботунит бумагою змей: обнаружилась желтая рожа над крышею!..

А за спиною жарит—от додонного тела, от парусинового лепетуна-пиджака: это папочка прижимает к груди; точно участь провидя мою, мне синеет глазами; пойдет златоискр, златосверк от меня, от распятого... мадам Горнунг,—

—которую пригласят из ее стрекоточного заведения для свершения всего этого: Котиково распятие,—эй, вы послушайте!—будет, когда, приготовившись, Котик подаст вам ладонки; и папа прорявкает:

—„Се, человек!"

Под очками сверкнут два бирюзника: папины глазки; заплачет он?

. . . . . .

Да, он заплакал, когда раскатался скандал; анафематила мама и била меня за вступление в Новый завет; папа это увидел; хохлатый, он яркою лицевою багровиной бросился, и дубобоко он вырвал меня, принапялил касторовый серый колпак с очень режущим ластиком мне на вихористый лобик и выпихнул силою; мы покидали навеки родимый

вертеп; и бежала за нами собака-вавака; и—амкала-гамкала: Иродов воин!

Мы бросились к первой пролетке; она тарарыхнула; папа накрыл меня крепким об'ятием; старое это моржовье лицо припадало губами ко мне, претяжолко выревывал папа: так жить не возможно; у нас—безысходное злобство; скопилося много: и псины, и зляны; пропсеть можно вовсе—в таком злообразии;—

—и тарарыкала это же самое выцветшим цветом пролетка, подпрыгнув раскоком под кумачевою занавеской, которая кинулась в нас пузыристо с окошка и под которою лопасть зеленого фикуса, точно приветствуя, переплеснулась; —

— а я отвечал, но не помню, что именно; так мы вступили в завет, на извозчике, для очищения нашего дома от псины и пыли;—

—но дернул духой пылелет вереею крутимых бумажек, быстрея вихтами; пошел ветродуй, ветрогар, ветросвист; змова дернулся змей из трубы в пылевое и слетное небо; но, зацепившись за сеть телеграфных столбов упадающей, яркой бумажною мордою,—облако повесился;—

—тут я подумал: да, да: я как отец под словами,—змея под цветами; и мне захотелось: распяться...—

—бурели столбищи пыли Девичьего поля; сквозь них была скачка на

нас бело-серых и мраморных коней; блеснул позумент и простертые сабли драгун, этих мчащихся воинов Ирода, сделанных мамой—

—там — плац для ученья; теперь же, за скверико́м, клиники там!

. . . . . .

Я не помню, что было у дяди Ерша, куда папа привез меня, битого: было—орависто, многосемейно; от капельно-малой постельки на коврик ко мне перевесился с кубиком очень назойливый зоя, двоюрный мой братик, совсем обессиленный; я попытался его исцелить:—не целился; кругом собрались ротыщи, сопляки—малыши;—

— Мы тебя „вздедерючим!"

Заду́милось мне—на весь день;—

— раз я видел: Дуняша, проплюнувши гвоздик себе на мозоль изо рта, колотила по шляпке железкой, приставивши гвоздик к багету; тяжелую штофную штору повесили:—

— здесь на столе я возлягу; сперва все зада́довит; знаю: задышит угарным своим газодуем душник; и откроется запах пептонов; и перетопами неизбежного выйдут из двери с ореховым крепким багетом, сломавши мне плечики; будет же шествие: через гостиную с „дориносимыми чинми", с портнихою-стрекачихою, вызванной мамочкой, Каиаффой моей,—с мадам Горнунг, которая прикала́кает с белошвеями к детской, где стелется морок:—

— пространство—изболтано; время—оболгано; и беспричинно причинность чинит-учиняет законы; снимает иконы и дарит законы, где гонят погони—исконные кони; копытом копают по полу, и...—

— „Да минует меня сия чаша“—

—тогда носорогая Горнунг, огромная, черная, в адовом платье (за ней—белошвеи) является, руки свои протянув; и гагакают громко, как черные галки:

— „Распни-ка!“

— „Распните-ка“...

И—придушитикой: гнутым багетом! В сердитую тучу все сгинуло; злыднем прикрыло; моя Генриэтта Мартыновна—в слезы! Знаю, знаю: заадовит перед столовым столом, где разденут и будут смеяться над голеньким мною; и Горнунг, глотая слюну, пропластает мне ручки; велит белошвеям взмахнуть молотками: долдонить по шляпкам гвоздей молоточной железкой—к багету! Уже окровавится десятерни́к моих пальчиков; буду висеть на багете, давая свои наставленья Дуняше рыдающей—вплоть до иссопа.

В квартире профессора Помпула будет удар—растяжелый, дубовый; в расселину стен протопорится Помпул, двухохлый и глохлый, свидетельствуя: совершилось!

Тогда:—

— небеса просветятся таким аксамитово-синим; взлетят облака-бархата́ны;—

—совсем персиканы!—

—И алтабáзом, персидской парчою, обветрится небо, чтоб быть амиантовым, меркнущим в золото-хохлое облако;—

—снимут меня: и двадцаткою демикотона с кровавою меткою „Елизавета Летаева“ поскорей обвернув, отнесут в сундучок, где упрятаны крупы, откуда раз вынули дохлую мышку; и будут сидеть и молчать; кто-нибудь прикурнет к сундучку; кто-то скажется плачем над мертвеньким Котиком; а уж по комнатам дилиньди́кает воркотун; и все—слушают:

— „Что это?“—

—Белобубенчики: я—воркотуню...

И все приголубятся; всем просияют: все свечи, все лампы, все звуки, все речи; и папа, поднявшись главою семейства, взволнованно очень поведает:

— „Котик воскрес!“

. . . . . .

В этих мыслях провел я весь день у Ерша: о мучениях мне предстоящих на завтра я думал, пока за окошком не высветился студен-камень зеленоватый—из неба;—

—со дворика видел я:—

—мокренький кустик—золотоносец какой-то; оттуда—воняет (и да: золотарь, да и тот не заходит сюда); были там златорылые свиньи; и—чавкали, чавкали

золото; но по поднебесью бледносиние шпаты какого-то лунного цвета уложены;—

— то—амианты—

— зензею зензеял комар: зазиньзинькал мне в уши; меня понесли на диван—зевачом.—

—Так запомнился вечер!

. . . . . .

Проснулся в руках Генриэтты Мартыновны: мама за мною послала ее:

— „Kotik, komm!"

Мама встретила, двери открыв, ангеликою: крыльями шали накрыла; и—плакала вместе со мною:

— „Мой миленький, маленький: ты уж прости, Христа ради!"

Я был, как воскресший; ходил в златоемы зари и смотрел, как над крышным железом, распучась, торчали кипучие зеленодары из листьев: хотелося кануть в оливковый сумрак стволов.

. . . . . .

Будто этой весною воскрес, пребывая нетленно (и нощно и денно) в событиях галилейской квартиры, пресуществляя ее очень грешную, очень арбатскую жизнь:—

— Иудея—гостиная; и Галилея—столовая; выточи, вйсенцы света лежат светославами на алебастровом бюстике, или—апостоле; с озера Тивериадского, коврика, я простираю кисейную руку; от кресла лысеющий папа, зимарь,

побежал по воде,—мне навстречу, подставив ладошки (такой дароимец!) за солнечным, брошенным зайкой; меня—

— уже нет!—

— Я прошел Галилею; я ножками меряю малый квадратик паркетного пола:

— „Вот здесь, вот на этом паркетике—будет сошествие Духа; а вот на этом оно—не свершится!“—

— Уже на одном—световйт, светослав, светодуй! На другом—

— марамбрахи пыли!

. . . . . .

Одно неизбежное солнце упало на землю; садится на землю: садится за землю!

Другое, возбежное, явится утром: надуто, пурпурово; бегом пройдется; и—скажется—

— маленьким: вот оно, желтая блесны! Вот малюсенький, яростно скачущий в глазках кружочек, мерцающий до-синя, после же:—

Старый закат—златоуст!

. . . . . .

Или вот, представляется мне:—

—Соберутся у чайного столика—

—папочка,

—мамочка,

—бабушка,
—дядя и
—тетя—
—а Генриэтты Мартыновны—нет,
потому что она лютеранка;—
—возникну
на столике я перед ними:
— „Даю вам—мой мир!“—
—и простерши ладонки, на них покажу две багровины: выли (волдырики, пробитни); заотделяют от скатерти—
— под потолок!—
—где блесбчусь я вытечью света; сбегу огонечком над папою, мамою, дядею, тетею; я—
— надвисаю теперь, распайнный на пестрые пятна захожего света, на обагрения подоконников,—
—перед которыми скоро бабуся затеплит лампадку;
лампадка горит;
я—невидим,
неслышим,—
—как речь безглагольная; здесь по ночам проливаю лилею; и мама узнает свое благовестие в ней, когда, вспомнив о Котике, очень бессонною ночью опустится

в складочки спущенных штор; из-за складок склоню я свое ангеличье, свое серебричье...

. . . . . .

— И вижу я—

— папа венчает на царство меня: он приносит дары в дориносице; передо мною стоит с парчевым алтабазом, стоит с ананасом, с апортом, или с гусевым яблоком,—даже: с антоновкой, духовым яблоком; и—утверждает:

— „К Андреям Наливам—нальешься ты знанием!"

— „Будешь—плод зрелый!"—

— И то происходит в Касьянове, где я стою в колосянистых сеянцах, в тимофеевых травах, в других ароматах. Уже золотянкою, нитью златою, затеяла баба-заря сарафан во все небо. Касьянов-распятель, хозяин имения, где мы летуем, проходит в свою ананасницу—там средь зеленых боскетов; и он есть маркиз с очень-очень нерусскою речью, которую уважают так все.

— „Не пора ли вас, Котика,—аркебузи́ровать: расстрелять аркебузой моей?"

В ананасниках—раскаленная пещь; выгоняются нам ананасы; туда, Даниил, я могу быть повержен!

Я знаю во сне, что не здесь, на Арбате, мой крест, а в Касьяновских луговинах, в еланных

муравицах, где, тихо журкая, брызжет еланный ржавéц и студнеет железистым, водным лазориком, где на заре—Назарея, где сивый старик на калúчине слепо жует а р ж а н у х у, налобив безухую и кругловерхую а с ь к у, шапчонку, где зори, достойные бабы, надев сарафаны свои, з л а т а р и, приготовят на небо мой путь, как... Илье, и где все угощаются красным анисовым яблоком.

Папа и тут восстает предо мной, гремит оглушительно:

— „Будет—восстание красных анисов!"

. . . . . .

И я просыпаюсь; и вижу в окошечке, скатится звездочка—светленьким следиком; к утру возлóжат атласы, китайские канфы; природа, как старый китаец, древнеет проростами; папа—крещеный китаец!

Белый А.

Б 43 Крещеный китаец.– М.: Панорама, 1992.– 240 с.

ISBN 5-85220-064-6

Роман Андрея Белого «Крещеный китаец» – построенная на автобиографическом материале история душевной драмы ребенка, воспринимающего мир через призму тяжелой психологической обстановки в семье.

Настоящее издание представляет собой репринт книги, напечатанной в 1927 году издательством «Никитинские субботники».

Б $\frac{4702010201\text{-}608}{088(02)\text{-}92}$ КБ-51-3-90 84

А. Белый

КРЕЩЕНЫЙ КИТАЕЦ

(репринт с издания 1927 года)